

ПАМЯТНИКИ ЛИТЕРАТУРЫ

Андрей
ПЛАТОНОВ

Произведение
ТОМ 7



IM WERDEN VERLAG
МОСКВА-МЮНХЕН 2004

СОДЕРЖАНИЕ

1. СВЕЖАЯ ВОДА ИЗ КОЛОДЦА	3
2. В СТОРОНУ ЗАКАТА СОЛНЦА	10
3. ОБОРОНА СЕМИДВОРЬЯ	15
4. О СОВЕТСКОМ СОЛДАТЕ (ТРИ СОЛДАТА).....	34
5. ШТУРМ ЛАБИРИНТА.....	39
6. ОФИЦЕР И СОЛДАТ	48
7. «ЧЕЛЮСТЬ ДРАКОНА» (ОДИН БОЙ)	55
8. ДОМАШНИЙ ОЧАГ	64
9. КРЕСТЬЯНИН ЯГАФАР	66
10. НА ГОРЫНЬ-РЕКЕ	74
11. ПОЛОТНЯНАЯ РУБАХА.....	78
12. ВНУТРИ НЕМЦА.....	81
13. ПУСТОДУШИЕ.....	84
14. ДЕД-СОЛДАТ.....	88
15. ЖИТЕЙСКОЕ ДЕЛО (СЛЕДОМ ЗА СЕРДЦЕМ).....	93

© Андрей Платонов
рассказы № 1,2,3,5: по книге «В прекрасном и яростном мире». М., 1965
рассказы № 4, 6-15: по книге «Смерти нет!». М., 1970

© Некоммерческое электронное издание. «Im Werden Verlag». Мюнхен. 2004
<http://www.imwerden.de>

СВЕЖАЯ ВОДА ИЗ КОЛОДЦА

Инспектор гидротехнических работ инженер Иван Николаевич Переверзев пробыл у нас четыре дня. Он сам исследовал все ложе будущего степного водоема; мы вырыли для него добавочно двадцать разведочных шурфов, и Переверзев установил, что водоупорные глины малонадежны и расчленены супесочными огрехами. Особенно опечалила Переверзева слабость природных грунтов вблизи плотины; он предвидел возможность фильтрации воды под тело плотины, ниже заложения ее замка; инженер понимал, что, когда на грунт будет нагружен тяжкий вес воды, плотина может осесть.

Нашему прорабу была поставлена задача: ему приказали усилить грунты в ложе пруда, чтобы предупредить поглощение вод сухими песками. Для того нужно было обнажить всюду размытые породы, а затем заделать эти места пластами уплотненной глины.

Прораб сказал нам, что для усиления грунтов в ложе водоема надобно столько же сделать работы, сколько было сделано для постройки всего тела плотины, и даже немного больше.

— А нужно ли так? — спросил Зенин, пожилой землекоп. — И без того вода со степи почву моет. Она наносов натащит, всю слабость в земле покроеет, а потом еще земля заилится и сквозь нее много не просочится... Я природу знаю!

— Мало ли что! Прежде так и работали, — сказал прораб. — Я сам так работал. А Иван Николаевич говорит: «Нет, нам нужно, чтобы с первого лета пруд был полон, нам каждая капля дорога, а под плотину чтоб и слева не прошла». А у меня всех мастеров осталось вы да каменщики. Ну, каменщикам на водосливе дела хватит, а уж вашей бригаде придется постараться. Либо людей надо добавить...

— Старания тут мало, — сказал бригадир землекопов Бурлаков. — На эту работу надо сто человек поставить, а нас восьмеро...

Бурлаков задумался; он думал, что невозможно сделать такую работу в восемь рук, и понимал, что нужно ее сделать. Но его уже тянуло к семейству, он обещал жене вернуться к уборке урожая, а теперь, выходит, он будет дома лишь по первому снегу.

Он поглядел на своих людей: они сделали много за лето, и они утомились, ныне же требуется от них столько работы, что прежний их труд является лишь малым делом.

— Тяжело будет, — сказал он. — Ну, а раз начнем, то и закончим.

— А вдруг да не справитесь и не закончите под снег? — встревоженно сказал прораб. — Лучше я затребую тогда добавочную силу через район...

— Кого потребуешь? Землекопов? — спросил Зенин. — Откуда вам их дадут, из какой области-губернии? Везде же работа идет... Чего зря говорить!

— Ну, а чего делать?

— Как чего? Работать будем! — ответил Бурлаков прорабу.

— А рук же мало, как тут быть?..

Здесь объявился молчавший Альвин.

— Так и быть, чтобы лучше было, — сказал он. — Работа большая, а мы ее начнем делать — и сами из маленьких большими станем.

Прораб недовольно поглядел на Альвина.

— Чего ты, Георгий? — обратился он к Альвину. — Ты знаешь, сколько кубометров придется на каждую душу?

— Это я понимаю, я сосчитал... Так мы же не без сознания станем работать... Мы не без смысла живем!..

— Без смысла не надо, помрешь, — сказал Сазонов, самый молодой в нашей бригаде. — Без смысла силы нету — чего сделаешь?..

Бурлаков разделил свою бригаду на группы по два человека и перед каждой группой поставил рабочую задачу. Альвин и Сазонов стали работать вместе. Они устроили себе в долине балки шалаш из тальника и стеблей полыни и поселились в нем, чтобы проживать ближе к работе: участок их работы находился далеко, километра за два от нашего общего жилища.

И вскоре, всего через неделю, в бригаде стало известно, что Альвин начал выполнять в сутки четыре нормы, вдвое больше, чем работал сам бригадир Бурлаков, и больше любого из нас. Мы приходили к Альвину смотреть, как он работает, и учиться у него, но он работал обыкновенно, как мы все умели, может быть, лишь немного скорее, и мы не могли понять его тайны. В работе у него было на лице постоянно доброе выражение, словно он хотел улыбнуться, и вся его худая фигура означала во время работы внимание к земле, будто он видел в ней образ милого ему человека.

На наши вопросы он отвечал правду, и мы сами понимали, что он говорит точно как есть и большего сказать ему нечего,

— Ты что же, трамбуешь достаточно? — спрашивал его сам Бурлаков. — Может, рыхло?

— Попробуй! — отвечал ему Альвин. Бурлаков пробовал глиняный пласт лопатой.

— Нет, ничего, — говорил он. — Так хватит.

— Чудно! — высказывался старый Зенин. — Не верю!

Бурлаков серчал на Зенина:

— Чему ты не веришь? Я же сам обмеры делаю! Мне ты не веришь?..

Однако спустя еще немного времени Альвин стал работать три нормы, а затем вдруг всего две с половиной? напарник же его Семен Сазонов почти каждый день давал две с четвертью нормы. И так было три дня, а потом Альвин сразу сработал четыре с половиной нормы, и менее того Бурлаков у него не замерял. Мы все заинтересовались, отчего так было у Альвина, что ушла от него на время выработка, — заболел он или настроение у него переменялось на плохое. Бурлаков вначале молчал, будто скрывал что-то по своей скромности, потом улыбнулся нам, кто спрашивал его, и сказал:

— Он на круг все три дня по пять норм выполнял! Сазонов Семен три дня не работал и в курене лежал — вода у него неважная, у малого живот болел, — а Альвин Егор показывал его работающим и его две с четвертью нормы сам делал.

Бурлаков вздохнул и отвел от нас глаза в землю, словно стыдясь чего-то — сам за себя или за всех нас.

— А кто им пищу готовит? — спросил Зенин. — У нас вот штатная кухарка, а они свою долю харчей сырьем взяли. Кто им там питание варит? Может, сверх штата кто приходит?

— Сам Егор Альвин готовит, кто же еще! — сказал Бурлаков.

— А это... а кто к ним в гости из совхоза ходит? Я допускаю, что ходит кто-нибудь на помощь.

— Может, ты хочешь узнать еще, кто спит за них, когда они при луне глину из барьера берут?

— Нет, чего мне, я так говорю, я не со зла, — недовольно сказал Зенин. — Пускай у него, у этого товарища Альвина, дух есть, так сила-то в руках у него из каши берется, а каши у нас с ним одна порция. Где тут закон природы? Не вижу!

— И коровы похожи, — сказала здесь наша кухарка, старуха Прасковья Даниловна, — и корм ровно едят, а молоко разное.

— Так то коровы! — воскликнул Зенин. — А тут люди...

— У тебя одно нутрѐ, а у Альвина другое, — объяснила Прасковья Даниловна и ухмыльнулась умным, спокойным лицом.

— Нутрё! — проворчал Зениц. — Что я тебе, печенка?

— Не сердчай. И у тебя душа, — произнесла наша кухарка, — да скорлупа толстая.

Вскоре Прасковья Даниловна, с согласия Бурлакова, стала готовить для Альвина и Сазонова пищу в артельном хозяйстве и сама ее носила им два раза в сутки; она хотела, чтобы Альвину и Сазонову легче стало жить и чтобы они лучше кормились: мужики сами себе плохо стряпают. Прасковья Даниловна укутывала оба горшка с обедом в свой теплый платок, и два землекопа ели теперь обед всегда горячим.

Время шло далее. Сазонов и Альвин заделывали в балке обнаженные пески и разрушенные покровы, вновь создавая тем древнюю целость природы.

Альвин работал все лучше и лучше. Он выбирал в карьере самую хорошую, увлажненную, прохладную глину, выкапывая ее из глубины разреза, грузил ее на тачку и привозил к месту работы. Такая глина способнее уминалась и трамбовалась, она хороша была в деле и давала прочное срастание с грунтом. Альвин любил земное вещество; хороня глину в углубление, укладывая ее на песчаную постель, он думал о ней и говорил ей про себя; «Покойся. Тебе там лучше будет, ты будешь цела и полезна, тебя не размочит вода, не иссушит и не выкрошит ветер», — точно он хотел объяснить глиняному грунту его положение и просил его перетерпеть временную боль, причиняемую работой человека. Разбивая трамбовкой глиняные комья, он успевал с сожалением посмотреть на каждый из них и запомнить их в отдельности, на что тот был похож. «Нельзя тебе быть таким, как нечеловек, ты будешь другим, — решал Альвин и глядел затем на Семена Сазонова или вспоминал другого, близкого и дорогого человека: это ради них тревожу глиняную землю, потому что я их люблю больше, но глина тоже добрая, и мы все вместе живем». Речь Альвина про себя и та речь, которую он говорил вслух, для других людей, отличались между собою; это происходило потому, что речь про себя, в сущности, не имеет слов и является лишь движением чувства, понятным и достаточным для одного того, кто переживает его.

Везя пустую тачку снова в карьер, Альвин размышлял: «Та глина, какую я сейчас увижу там, она будет уже не похожа на ту, что я отвез, она другая будет»; его это интересовало. Подымаясь по взгорью к карьере, выше уреза воды будущего озера, Альвин внимательно разглядывал и попутные былинки, и пролетающих бабочек, и все, что живо было и существовало на его пути. «Скоро вас всех тут больше будет, — радовался он, — всего будет больше — и трав, и бабочек, и червей; здесь наполнится озеро, земля станет рожать от влаги, тогда для всех хватит пропитания». Для Альвина ничто не было безжизненным, он имел отношение к каждому предмету, к любому живому творению и не знал равнодушия; если же он видел чужое равнодушие или расчетливое самоуспокоение, то легко приходил в ожесточение, и в этом его ожесточении было, возможно, смутное желание вывести равнодушного человека из его скупого оцепенения, чтобы он увидел не видимое им — людей и природу в их истине, прелести и в их усилении к будущему времени — и соединился с ними своим сердцем и своей силой; в чувстве жестокости Альвина более всего было печали и нетерпения; так, наблюдая в одиночестве прекрасное лицо или неодушевленную красоту мира, мы испытываем горестное сожаление, что никто другой не видит сейчас того же и не разделяет своим чувством нашей радости, тем самым уменьшая ее и как бы обижая нас.

Более всякой другой работы Альвину нравился простой труд с лопатой: он верил и знал, что этот труд оживляет землю, подобно пахоте крестьянина, равно и плуг крестьянина и лопата землекопа обращают омертвевший грунт в источник жизни для хлебной нивы или сада и через них в конце концов в питание и в дух человека, — и высший долг однажды рожденного человека был ясен ему. Поэтому Альбин с увлечением копал землю, словно рождая каждый перевернутый пласт для осмысленного существования, и внимательно разглядывал его, провозжая в будущую, бессмертную жизнь. Он мог работать почти непрерывно, не переводя духа, не делая кратких остановок для отдыха, как поступают почти все рабочие, сами того не замечая. Ему не нужно было отдыхать в рабочее время, потому что усталость не могла одолеть его

удовлетворения от работы; может быть, труд и не был для него работой, а был близким отношением к людям, деятельным сочувствием их счастью, что и его самого делало счастливым, а от счастья нельзя утомиться. И от этого чувства он глядел на землю сияющими глазами, в то время как пот на его рубашке проступал насквозь, просыхал от ветра и вновь проступал. Вечером он с сожалением думал о минувшем дне и не хотел спать, но наступала ночь, он ложился на траву в шалаше, укрывался своим старым пальто, и сладок был его сон.

Утром, еще на рассвете, приходила Прасковья Даниловна; она приносила на завтрак кулеш, горячую картошку и хлеб. Она спешила скорее обратно, но Сазонов обыкновенно задерживал ее своими вопросами.

— А отчего ты не замужем, Прасковья Даниловна? Ты пожилая уже.

— А я, сынок, вдовица.

— Вдовица? А дети где? Нету?

— Как так нету? И дети были. Которые выросли, которые померли...

— А сколько детей? Много?

— Да четырнадцать было, четырнадцать душ всего родила...

— Ого, сколько! Это много по количеству!

— Да не так чтоб уж много — у людей и больше бывает, — а на чужой-то взгляд много.

— А отчего ты много рожала? По новым людям, что ль, скучала?

— Да нет, чего я скучала? Я не скучала! А надобно так было...

— Надобно? А мне вот постное масло надобно. Принеси мне на обед чего-нибудь с постным маслом. Изжарь!

— Так это можно, — соглашалась Прасковья Даниловна. — Я тебе картошек напеку, а хлеб ломтиками нарежу да в масле его обжарю, хлеб весь и пропитается...

— Неси, я буду кушать... Мне харчи нужны, а то работы много, и мне думать надо...

Днем Сазонов старался работать вослед Альвину, но поспеть за ним не мог, выработка его была всегда меньше. Что-то мешало ему — неправильное размышление или внутренняя жизнь, которая не соединялась целиком с общей жизнью народа посредством труда.

Стоя во впадине земли, они чувствовали запах созревших хлебов и степных трав, приносимый к ним волнами теплого воздуха, и это кроткое благоухание живого покрова земли смешивалось с запахом открытого грунта и пота работающих людей, и они дышали этим запахом травы, земли и труженика-человека, соединенным в одно живое родство.

Так, должно быть, и над всей нашей родиной волнуется ветром это благоухание жизни — воздух трав и пшеничных нив, запах человеческого пота и тонкого газа трепещущих в напряжении машин.

В обед к ним явился Бурлаков. Он сказал, что у него в бригаде от плохой воды заболели двое людей — Зенин и Тиунов; это жалко, а если еще заболеют люди, то вовсе некому станет работать, тогда и в год нам не выполнить задачу.

— Придется отрыть шахтный колодезь, — сказал Бурлаков. — Нельзя людей жижкой из ямки пить.

— Да, невозможно, там микроб! — согласился Сазонов.

Бурлаков покурил, обмерил работу, что сделали Альвин и Сазонов, и решил, как надо устроить дело. Нужно поставить на рытье колодца Сазонова и Киреева, Альвин же останется один на своем участке, — это плохо, конечно, а лучше сделать — людей нету; но из плохого положения можно тоже хорошее сделать, это смотря как взяться за работу.

Бурлаков до вечера остался на участке Альвина, они работали втроем. Бурлаков остался ради Альвина: он хотел в точности изучить все приемы Альвина, как он работает и отчего дает большую выработку. Бурлаков не мешал Альвину своим наблюдением, он смотрел на Альвина редко и незаметно, но тогда, когда именно нужно; как старый рабочий человек, он понимал, что в каждом труде есть сокровенный смысл, тайное, личное отношение рабочего

человека к своему делу, и нельзя бесстыдно подсматривать за работающим — это и самому будет совестно.

Бурлаков считал в уме скорость, с которой Альвин катит тачку в карьер за глиной, время загрузки тачки и скорость возвращения Альвина с грузом. Бурлаков высчитал и число ударов в минуту трамбовки в руках Альвина, и на сколько сантиметров он подымает трамбовку над грунтом, с какой живой силой он бьет ею, а также как он дышит и много ли потеет или работает сухим. Заметив, что Альвин работает без фуражки, а ворот у него расстегнут вовсе, Бурлаков и это принял во внимание. Он знал цену точности и кажущемуся пустяку — в них бывает решение вопроса.

Под вечер Бурлаков присел на минуту поодаль от Альвина; он закурил и для виду переобул одну ногу. Альвин в тот час вскрывал лопатой слабый грунт, прикрывавший пески. Бурлаков же хотел издали поглядеть незаметно в лицо Альвина, какое у него выражение: устал вовсе человек или чувствует себя еще терпимо и душа его добра? И Бурлаков увидел на лице Альвина слабую улыбку и внимательные, блестящие глаза, смотревшие в землю. Бурлаков вспомнил, что он видел такие же лица у людей, читающих большие книги, волнующие их, покойно-счастливые лица. «Всего его не сосчитаешь, — подумал Бурлаков. — Вот что сейчас в нем есть, этого мне, должно быть, как раз и не хватает. А, ничего! Я другим возьму: у меня под лопатой тоже пар пойдет из земли, а рубашка сухая будет!»

На следующий день Альвин работал один. Семен Сазонов ушел с утра рыть колодезь, и там, на месте работы, он должен остаться ночевать вместе с Киреевым, потому что колодезь рыли довольно далеко; колодезь определили туда, чтобы он и после окончания работ сохранился для будущего поселения на берегу озера.

И странно вдруг стало Альвину работать и жить одному; обыкновенно всегда вблизи него работал человек, и хотя о нем не думалось, но чувство к нему было, чувство одинаковой участи и удовлетворенной совести: если ты работаешь и тебе трудно, то и мне трудно, я тоже с тобой здесь. Так же чувствовал и другой человек, и обоим было легче.

Альвин обрадовался, когда Прасковья Даниловна пришла с обедом; есть ему хотелось мало, но ему необходимо было побыть немного с человеком, поговорить с ним о чем-нибудь, увидеть хотя бы в чужом лице то, что привязывает его к жизни и питает его веру в нее.

— Отсюда пойдешь Семена кормить? — спросил за обедом Альвин у Прасковьи Даниловны.

— А то кого же! Его да Киреева еще, Тимошку.

— Ступай корми их... Ты бы сначала к ним ходила...

— Жуй, жуй, не глотай! Успеется... И их накормлю, и ты поешь. Не спеши!

Вечером к Альвину приходил Бурлаков. Его все более волновала тайна работы Егора Альвина; его сердце уже не могло терпеть, чтобы он не узнал, почему выработка у Альвина больше, чем у него, и чтобы он не сумел сработать столько же и даже больше. Бурлаков все время, все эти дни, чувствовал в себе мучение стыда; он уже хотел отказаться от бригадирства — пусть теперь бригадиром будет Альвин, но прораб велел ему остаться как он был, на своей должности.

Измерив способы и приемы работы Альвина, Бурлаков в точности повторил их, даже рукоятку к своей лопате он приделал подлиннее, как у Альвина, — и только устал больше, а сделал земли, как и в прежний день, без прибавки. «Что за черт в мешке!» — подумал Бурлаков и пошел к Альвину.

— Может, скажешь? — попросил Бурлаков. — Приспособление, что ль, у тебя какое есть?

Альбин улыбнулся.

— Что ты, Николай Степанович, глупость говоришь! Неужели ты вправду так думаешь?

Бурлакову стало неловко.

— А ты не обижайся, Егор Егорыч, и глупость по причине бывает. Дело большое, узнать охота...

— Чего узнать? — грустно сказал Альбин.

Он посмотрел в темную степь и в звездное небо над землей; на небе он нашел одну звезду, на которую он смотрел каждую ночь на фронте, когда эта звезда была видна.

— Чего тебе узнать от меня? Я знаю, что все знают...

— Не ровно, видно, знание. У тебя сегодня шесть норм, а по бригаде на круг по три, у меня четыре. Скоро осень, а у нас тихий ход... Ты на скорость, что ль, берешь, без передышки? Так, значит, сердце у тебя сильное, оно терпеть может.

Альвину скучно стало рассуждение, он хотел сказать, что был ранен в грудь, но промолчал: не об этом его спрашивал Бурлаков. На небе вошла невысокая, убывающая луна, и земля осветилась кротким светом.

Альбин поднялся и взял лопату.

— Ты куда? — спросил его Бурлаков.

— Землю работать... Пойдем и ты, Николай Степанович. Я завтрашний день хочу сегодня начать.

Бурлаков без охоты взял вторую лопату и молча пошел за Альвиным. Бурлаков стал возить глину, а Альвин трамбовал ее.

После полуночи они попрощались. Альвин увидел, что Бурлаков был усталый, но повеселевший.

— В работе лучше всего, — смущенно и тихо произнес Альвин, — будто со всем народом и с природой говоришь. Мне, бывало, всегда кажется так.

— А что тебе кажется? Что тебе народ говорит? — Слов не слышно. Это не такой разговор.

— А ты ему?

— Я ничего не говорю. Я люблю его. Сказать нечего и нехорошо, работаешь — и все..

Бурлаков удивленно смотрел на Альвина; медленно шла его мысль, чувство же в его сердце действовало скорее мысли. Он обнял Альвина, постоял так немного, как брат, вблизи человека, потом ушел ночевать к остальным своим людям.

Альвин остался один. Его звезда на небе зашла за горизонт, она светила сейчас другим, невидимым людям, а не погасла.

Альвин уснул и был разбужен криком человека на заре. К нему прибежал Киреев; он сказал, что Семен Сазонов задохнулся в колодезной шахте почвенным газом, Киреев его вытащил, но Сазонов лежит на земле плохой и дышит тяжело, отдышится или нет — никто не знает, он может умереть. Альвин побежал с Киреевым на колодезь; с дороги Альвин велел Кирееву поспешить в барак — там есть аптечка, пусть он принесет ее.

Альвин прибежал один на постройку колодца. Возле холма вырытой земли, на прохладной, росистой траве, лежал Сазонов, лицом к восходу солнца. Глаза его побелели и были полуоткрыты, выражение их было равнодушным; дышал он жадно, но редко и неровно, словно он то забывал, то вновь вспоминал, что надо дышать, и пальцы рук его шевелились, слабо хватая землю в беспомощном страдании. Альвин начал помогать Сазонову чем мог и о чем сумел догадаться: он стал равномерно махать над лицом Сазонова своим пиджаком, чтобы увеличить ветром приток свежего воздуха изнемогающему человеку.

Вскоре Сазонова затошнило. Альвин снял свою исподнюю рубашку и осторожно вытер лицо больного; пошевелить его он боялся. Затем Альвин смочил платок травяной росой и освежил рот и лоб Сазонова. Подумав, что еще надо сделать, Альвин склонился к Сазонову, он стал перед ним на колени и увидел, как быстро бледнеет его лицо; невидимая едкая сила изнутри испивала его жизнь и осушала кровь. Тогда Альвин поцеловал товарища в лоб и, не думая более, полезно это или вредно, обхватил Семена, поднялся с ним и прижал его к себе, Альвин испугался, что Сазонов сейчас умрет, что он уйдет от него неизвестно куда, и держал его близко при себе, не чувствуя его тяжести.

Альвин позвал его:

— Семен, Семен, ты дыши глубже, ты очнись... Что ты, Семен! Зачем же я тогда без тебя?..

Альвин не знал, что нужно сказать ему и что делать. Он сел на землю, осторожно положил Семена возле себя, взял голову его в свои руки и прижал ее к своему животу, чтобы она не остывала более. Молодое белое лицо обращено было к Георгию Альвину, безмолвны были теперь открытые, постоянно вопрошавшие уста Сазонова, и черты его медленно превращались из юных в детские и в младенческие, приобретая первоначальный, кроткий и важный образ, исполненный покоя и достоинства. И горе, подобно воплю матери по умершему сыну, прошло через сердце Альвина, и он, не сознавая, что делает, коснулся своим ртом побледневших уст Сазонова и стал дышать его дыханием, чтобы отравленный газ скорее вышел из умирающего.

Альвин прежде мало думал над тем, кто был сам по себе Семен Сазонов и какое он имеет значение для всех людей. А теперь Георгий Альвин вздрогнул перед бледным лицом юноши: он увидел в нем неузнаваемые, затаенные черты того прекрасного человека, который был ему необходим. Альвину стало страшно, что со смертью Сазонова уменьшится весь смысл жизни на земле и руки его ослабеют для работы... Сазонов по-прежнему дремал в предсмертном сне, и Альвин заплакал над ним.

Бурлаков издали окликнул Альвина, он бежал сюда вместе с Киреевым.

— Ну, как там Семен? Жив еще? Не упускай, не упускай его!.. Я иду!

Бурлаков оказал Сазонову помощь из ящика с аптекой, однако неизвестно, что помогло Семену: должно быть, его сила в теле, взятая для жизни еще от матери.

Сазонов очнулся и спросил:

— Это что — смерть была?

Бурлаков довольно улыбнулся.

— Видал? Интересуется! Значит, отдышится и жив будет.

— Буду, — слабо сказал Семен. — Мне надо!

Альвин опустил в колодезную шахту, чтобы проверить ее. Шахта уже освежилась от газа, в ней можно было работать, и Альвин остался в ней; к вечеру вместе с Киреевым он закончил ее углубление до грунтовой воды и там напился первым прохладной, чистой влаги...

День этот прошел, и мы его забыли. Время склонилось к осени. Бурлаков торопил работу, он сам не жалел себя и серчал на других, кто не успевал. Серчая, Бурлаков иногда сам работал за слабодушного и записывал свою землю в его выработку. Это приводило совесть людей в содрогание, и Киреев однажды плакал ночью по тому случаю, что Бурлаков приписал ему полторы нормы из своей выработки.

Осенью и самый слабый или равнодушный человек в нашей бригаде стал работать лучше, и менее трех норм уже никто не работал. Альвин же и Бурлаков работали одинаково по шести норм, но бывало, что делали и больше. Люди в бригаде говорили в шутку, что в колодце откопали счастливую, сладкую воду и от нее идет добавочная сила.

Когда в первый раз Бурлаков сделал земли больше Альвина, то Альвин попросил его:

— Скажи, Николай Степанович...

— Чего тебе сказать? — улыбнулся Бурлаков, понимая Альвина. — И Зенин сегодня три с четвертью дал. Настраиваются помаленьку люди, воду из чистого колодца пьют...

— Нет, ты скажи: какое у тебя приспособление? А то я от тебя отстаю... Чего-то у меня не хватает, значит, в душе, а у тебя лишнее есть.

— Ишь ты, чего хочешь! Может, с тебя это и пошло... Я думал, ты сегодня слаб будешь, и я за тебя постарался. Поясница, правда, болит, так это пройдет...

— Пройдет, — сказал Альвин. — Так, значит, ты тоже приспособление себе сделал?

— Сделал! — засмеялся Бурлаков. — Сам чувствую, есть что-то, а сказать — не знаю. И ты ведь молчал! У каждого, дорогой, своя душа, а свежую воду мы все пьем из одного колодца.

[1937-1939]

В СТОРОНУ ЗАКАТА СОЛНЦА

I

Пока спал, он примерз к земле. «Это у меня тело отдохнуло и распарилось, и шинель отогрелась, а потом ее прихватило к стылому грунту», — проснувшись, определил свое положение сапер Иван Семенович Толокно.

— Вставай, брат! — сказал себе Толокно. — Ишь земля как держит: то кровью к ней присыхаешь, то потом — не отпускает от себя.

Он с усилием оторвался от промерзшей земли, обдутой здесь ветрами до прошлогодней умершей травы.

В той части, где служил Толокно, саперов с уважением называли верблюдами. Каждый сапер, кроме автомата с нормальным боевым запасом и пары ручных гранат, имел при себе лопату, ломик, топор, сумку с рабочим инструментом, бикфордов шнур, личные вещи и еще кое-что, смотря по назначению саперного подразделения. Все эти предметы человек имел неразлучно при себе: он шел с ними вперед, бегал, полз, работал под огнем, отбивался от врага, мешавшего его труду, спал в снегу или в яме, ел и писал письма домой в надежде на встречу после победы, в надежде на жизнь, которая будет вечно счастливой.

Проснулся Толокно вечером, на закате солнца. Командир подразделения, капитан Смирнов, собрал в овраге своих людей, осмотрел их, проверил снаряжение и спросил каждого о самочувствии.

— Я всегда чувствую себя хорошо, товарищ капитан, — ответил Толокно командиру.

— А почему всегда? — заинтересовался капитан.

— А по необходимости! — объяснил Толокно. Капитан указал рукой на заходящее большое солнце.

Бойцы посмотрели в великое пространство, ожидающее их, — потоки разноцветного света на небе походили сейчас на торжественную музыку, трогаящую человека за сердце.

Затем капитан объяснил бойцам их задачу на нынешнюю ночь. Следовало теперь же, вместе с приданной саперному подразделению группой разведчиков, выйти к речному руслу, изыскать место для переправы танков и сделать отлогий выход в отвесном берегу реки на сторону противника, а потом, после совершения этой работы, нужно двигаться вперед на танках вместе с десантной группой пехоты и по указанию, которое будет дано впоследствии, вонзиться в землю и отработать систему траншей, укрытий и блиндажей.

— Бойцы и товарищи! — сказал командир. — Мы ведем дороги на закат солнца. Мы, красноармейцы, мы для врага то же самое, что обратный клапан в машине, который только в одну, как раз в ту, сторону открывается, а назад — нипочем, назад он стоит намертвую... Я так считаю, что хватит огненному железу войны ползать по нашей земле — ей хлеб пора рожать!

— Пора! — сказали бойцы, и душа их тронулась болью и воспоминанием.

И после заката солнца они пошли во тьму, нагруженные инструментом для работы и оружием против смерти.

II

Затемно разведчики привели саперов к речному потоку. Иван Толокно и другой сапер, Петр Расторгуев, осторожно пошли вниз по течению, чтобы разведать местность.

Толокно вышел на лед, лед был тонок, и под ним близко чувствовалась живая вода.

В небе засияли две осветительные ракеты врага, и вся река и пойма ее озарились тем неподвижным пустым светом, каким освещаются сновидения человека. Иван Толокно лег на

живот и пополз своим направлением. Впереди себя он расслышал равномерное пение воды подо льдом.

Разведчики уже вышли на тот берег и тайно продвинулись вперед, чтобы наблюдать неприятеля и чтобы помочь своим саперам в нужде и опасности.

Толокно дополз до подтаявшего льда и увидел, что вода впереди выходит из-под покрова наружу и струится на воле, шумя на перекате по каменистому беспокойному ложу. Толокно сполз в воду по опустившемуся под ним льду. Он попробовал воду рукой и решил, что в ней можно обтерпеться.

Толокно и Расторгуев пошли по шумной обнаженной воде. Глубина здесь была малая, иногда вода не доходила и до щиколотки; однако древние камни, размером в целого человека, создавали неодолимую преграду машинам.

Толокно и Расторгуев озадачились: все здесь было бы удобно, но камни лежали чередую по всему перекату от берега до берега, а выше и ниже переката река уже имела глубину, и вброд ее перейти невозможно.

Вступив в воду, капитан Смирнов подошел к своим бойцам и сказал им, что здесь надо немедленно устроить брод.

— Телом, что ль, грузные камни будем рвать? — спросил Расторгуев.

— Еще чего! — сказал Толокно. — Огнем тут будем шуметь, когда немец невдалеке надзирает. А потом он тут нам половодье устроит...

— Сдвинем камни вниз вручную! — сказал командир.

— А силы хватит у нас? — усомнился Расторгуев. — Камень здесь в грунт врос, это неподъемное дело! Его и не расштатаешь, ишь он леденеет и мокнет, как лаковый стал...

— Ничего, возле смерти человек сильнее, — высказался Толокно.

Две мины рванулись неподалеку и вьелись осколками в лед.

III

Капитан через связного передал приказ командиру разведывательной группы: начать ниже переката затяжной маскировочный бой, а всех саперов капитан собрал работать на перекате. Однако немцы, не зная ничего точно, чувствовали намерение русских и вели ощупывающий минометный огонь по району переката. Саперы же не могли ответить врагу огнем, чтобы не обнаружить себя; они ютились в тенях за могучими камнями, в тяжелой воде, до боли в сердце остужающей их тела.

Иван Толокно, работавший до войны десятником на строительстве уральских заводов, понимал всякое дело. Любую работу он начинал со сноровки, с обдумывания способа, которым нужно произвести работу.

Шестеро саперов хотели было по-старинному раскатать камень, вровень дыша друг с другом и говоря что-нибудь в один лад, но камень не послушался силы людей и в ход не пошел.

Толокно присел в воду и, погрузив в нее руки, ощупал камень у основания, затем он отыскал руками и вынул наружу из ложа реки небольшие камни, чтобы разглядеть их при свете вражеских ракет. Найдя, что нужно, — продолговатый камень, похожий на клин, Толокно снял с себя все, что не должно намочнуть, положил это имущество подалее на лед и сел на дно реки. Вода теперь доставала ему по горло.

Обухом топора он начал вгонять клин под сиденье большого камня, желая оторвать его от речного грунта. Работал Толокно топором под водой на ощупь, и руки в мерзлой воде ходили вязко, немея от усталости. Но Толокно был привычен к работе и одолевал в терпении стужу, жгущую его тело, прочность и вес могучего камня. Жилы рубцами выступили на его больших руках, обветренных, обмороженных, давно покрывшихся толстой, точно заржавленной кожей, оберегающей рабочее жизненное тепло в жилах и мышцах его рук. Изредка Иван Толокно поднимал руки с топором из воды на воздух, чтобы они немного отошли, а затем снова спешил расклинить камень и стронуть его с места.

Вдалеке, вниз по течению реки, наши разведчики начали стрельбу по неприятельской стороне, чтобы неприятель перестал обращать внимание на пережат. Однако немцы тоже открыли встречную стрельбу по разведчикам, но и пережат не переставали покрывать редким минометным огнем — на всякий случай. Сапер Нечаев был убит осколком мины в голову, унести его было некогда, и его положили на лед.

Расторгуев подклинивал тот же камень, что и Толокно, усевшись рядом с ним. Живая вода вошла в зазор, образованный клиньями, и с сосущим звуком ослабила основание камня, срощеясь с ложем реки. Тогда Толокно велел четверем саперам раскачивать камень во всю свою силу, пока он не двинется, не давая ему ложиться в покой; сам же Толокно быстро вгонял под камень все, что находил подходящего в речном потоке возле себя.

Капитан Смирнов взял пример с Ивана Толокно и поставил по четыре и по шесть человек саперов на каждый грузный камень, чтобы после подклинивания трогать их с места живой силой реки и людей.

Камень Ивана Толокно пошел первый, и его оттащили метров на шесть вниз по течению.

— Достаточно! — сказал капитан.

Немецкие осветительные ракеты погасли в небе. Капитан Смирнов пошел по пережату.

— Скорее, скорее давайте, ребята! — говорил он саперам.

Толокно сменил закоченевшего сапера, Трофима Пожидаева, и опустился за него в воду по горло, чтобы без задержки расклинить и оторвать камень.

— Скорее! — торопил командир. — Скоро танки хода запросят.

От тьмы стало как будто еще холоднее. Из-за кручи неприятельского берега начал бить пулемет неприцельным огнем, и пули ложились по пережату кое-где.

— Не утерпел враг погодить немного! — осерчал Толокно, сидя в воде, стругающей его тело ознобом.

— Тут война, товарищ Толокно! — сказал капитан.

— Известно, товарищ капитан! — ответил Толокно. — А тут саперы Красной Армии, а у саперов обе руки — правые: одна камень долбит, а другая стреляет...

Подработанные сидни-камни трогались с вековых своих мест.

Разгромоздив пережат от этих камней, капитан прошел поперек потока и освидетельствовал его, желая убедиться, что проход свободен.

Саперы вышли из воды под обрыв неприятельского берега. Враг занимал позиции несколько далее берега, и под обрывом было спокойно. На воздухе саперы враз обмерзли и обледенели, но вскоре они отогрелись, и им стало жарко в работе. Саперы взяли в лопаты глинистый береговой отвес и начали въедаться в него пологой траншеей, чтобы танки без усилия могли выйти здесь из реки и помчаться в сторону врага.

Полушубки оттаяли на саперах, от них пошел пар. Капитан Смирнов время от времени измерял пологость траншеи, чтобы не рыть лишнего, но и не затруднить танковых моторов, и смотрел на своих бойцов.

Мины и пулеметные струи стремились через головы саперов на пережат и там поражали воду и лед.

«Сколько один Иван Толокно настроил в своей жизни жилищ и всякого добра?» — думал капитан Смирнов.

И он спросил об этом у Толокно, рушившего сейчас грунт впереди себя.

— Не упомяну, товарищ капитан, — ответил Толокно. — Сорок пар рубах от пота еще в мирное время сопрели на мне. Четыре шинели и два полушубка на войне истер, седьмую одежду на себе донашиваю, а кости все целыми живут, и тело ничего! Дышит.

«И этот Иван Толокно, может быть, сегодня же падет на землю сраженным насмерть!» — подумал Смирнов.

Когда траншейный выход был близок к окончанию, капитан велел связному отойти вверх по реке и дать оттуда сигнал ракетой, что танкам, дескать, путь открыт и пехоте также нет трудных препятствий.

Немцы тоже стали беседовать между собой разноцветными ракетами. Иван Толокно глядел на небо, светящееся тихими цветными молниями тех ракет, осыпающихся медленно угасающими искрами.

IV

После полуночи всюду стало тише. Отвлекающий ложный бой разведчиков с противником прекратился. Саперы прилегли на отдых в открытой дорожной траншее и задремали до прихода танков.

В нужное время капитан разбудил бойцов и велел им приготовиться к посадке на танки.

Иван Толокно не спеша поправил на себе снаряжение и прислушался к утихшей ночи: ничего не было слышно, кроме равномерного пения речного потока по каменистому перекаату,

Потом Толокно услышал скрежет мелких камней под гусеницами танков, ворчание моторов и шипение взволнованной воды; а подхода машин к реке он не различил, столь безмолвно они подкрались и столь хорошо были отрегулированы их механизмы.

Траншеею танки проходили самым тихим ходом, чтобы саперы успели разместиться на них — вдобавок к тем бойцам, которые уже находились на телах машин.

И танки резко, точно с прыжка, взяв ход, устремились на врага во мрак.

Иван Толокно попал на машину вместе с капитаном Смирновым. Он нашел теплое место на броне и отогревал там руки.

Враг обнаружил машины и стал бить издали артиллерийским огнем. Укрываясь от поражения, танки то сокращали ход, то мчались вперед, как ветер, то шли уклончивым маневром, но все время соблюдали главную, заданную линию движения.

На полной скорости, с воем напряженных моторов, танки влетели в деревню с заглохшими, выморочными избушками. Бойцы на танках приготовились вести автоматный огонь; но здесь никого не было видно, и только из крайней маленькой избы, что была на выходе, полосовал пулеметный огонь. Один наш танк с ходу налетел на ту избушку и похоронил в ней врага.

Если и остались в этой деревушке немцы, то пусть остаются дышать до нашей пехоты; машинам же было некогда и невыгодно тратить свою мощь на всякого мелкого попутного врага.

Немцы били из пушек все более тесным огнем, и Толокно почувствовал, что в воздухе словно немного потеплело. Впереди, по ходу машины, Толокно разглядел неясное, темное место, озаряемое мгновенным, но повторяющимся заревом рвущейся в небе шрапнели, и понял, что это горит деревня. Но из этой деревни, из-за ее обрушенной церкви, из ее могил и колодцев синими кинжалами сверкал огонь сопротивления.

Танк, на котором находился Толокно, шел теперь на всей ярости своего мотора и гремел вперед пушечным огнем, и бойцы, бывшие на машине, кричали, не помня и не слыша себя, воодушевленные мощью боя.

По команде бойцы оставили танк и пошли в охват деревни.

V

Капитан Смирнов вывел своих саперов на западное поле, обойдя деревню и оставив бой позади себя; здесь саперы должны были отстроить новый узел обороны и сопротивления, пока танки, десантники и следующая за ними мотопехота будут блокировать и уничтожать врага в деревне.

Смирнов взял с собой Ивана Толокно для разметки работ.

В рассветном сумраке лежало перед ними зимнее русское поле, покрытое темными впадинами оврагов.

Капитан Смирнов хотел разбить линию траншеи с выходом ее в дзот по склону балки, начав траншею у бровки этой балки. Но Толокно посоветовал начать вскрытие траншеи раньше, еще на поле, где рос малый кустарник, чтобы и кустарник был у нас за спиной, на нашей земле, — он может пригодиться бойцам. Капитан согласился с этим хозяйственным расчетом.

Второй дзот Толокно задумал строить в самом устье оврага, чтобы пастбища на водоразделе меж двумя оврагами целиком остались за нами.

— Да ты что, Иван Толокно! — разгневался командир. — Мы что, мы сюда скотину пасти пришли? Мы кто — крестьяне, что ль?

— Я на всякий случай сказал, — смирился Толокно. — Мы не крестьяне, мы бойцы, но мы и то и другое...

— Ступай — зови людей! — сказал капитан.

Саперы привычно взялись за земляную работу: она им напоминала пахоту, и бойцы отходили за ней душой, и чем глубже, тем в земле было теплей и покойней.

Наутро бой все еще гремел в деревне; капитан Смирнов немного беспокоился, что сюда не подходит наша авангардная часть, как должно быть по плану сражения. Он решил усилить свое охранение и послал вперед на посты еще пятерых бойцов, в добавление к назначенным прежде, и в их числе Ивана Толокно. «Пусть он заодно отдохнет», — решил командир.

Толокно очистил о снег лопату, взял под мышку автомат, поправил гранаты на поясе и пошел в сторону заката солнца. Командир указал ему направление и расстояние, и Толокно вскоре скрылся за ближним водоразделом.

Он шел ближе к врагу, чтобы увидеть его первым, если враг пойдет на помощь своим солдатам, умирающим сейчас в русской деревне. Толокно дошел до одинокого ствола обгорелой, погибшей сосны и здесь остановился и осмотрелся: вокруг было чисто и свободно, как всюду в равнинной России, где мало лесов. От подножия мертвой сосны начинался спуск в большой, разработанный потоками овраг, а по ту его сторону земля снова подымалась.

Сапер хотел было закурить в тишине, но прежде поглядел вперед. Ветра не было, но в воздухе что-то напевало вдали.

Из-за оврага тихо вышел рокошущий танк с белым крестом и пошел на мертвую сосну и человека.

Иван Толокно посмотрел на машину и почувствовал свое горе, и жалость к себе в первый раз тронула его сердце. Он работал всю жизнь, он смертельно уставал. А теперь фашисты стреляют в него из пушек; теперь злодеи хотят убить труженика, чтобы сама память об Иване исчезла в вечном забвении, словно человек не жил на свете.

— Ну, нет! — сказал Иван Толокно. — Я помирать не буду, я не могу тут оставить беспорядок, без нас на свете управиться нельзя.

Из танка вырвался свет пулеметного огня. Толокно залег за стволом дерева и ответил врагу из автомата по щелям его глаз в машине.

Танк в упор надвинулся на дерево и подмял его под себя. Сосна треснула у корня и удивила сапера синим цветом на разрыве своего тела. Толокно отодвинулся в сторону от падающего дерева и очутился между ним и гусеницей танка, сжевывающей снег до черной земли.

Он увидел, что над ним стало светло: значит, танк прошел далее, пропустив под собою, меж гусеницами, лежащего человека и поверженную сосну.

Иван Толокно, не теряя времени, бросился за танком с гранатой, ухватился за надкрылок и в краткий срок был в безопасности, на куполе пушечной башни врага.

Танк без стрельбы, молча, шел в сторону, откуда пришел Иван Толокно. Это было для Ивана попутно и хорошо. Он решил взять машину в плен или подорвать ее гранатами, если она откроет огонь по труженикам-саперам либо повернет обратно. «Должно быть, это ихний

разведчик блуждает, — размышлял Толокно, — а может, на подмогу к своим в одиночку идет. Этот танк сделали стрелять и давить, а он чужого сапера везет, своего хозяина».

Вскоре на броню танка безмолвно и внезапно вскочили наши люди, — может, они были из боевого охранения, а может — разведчики. Немцы остановили машину, потом повернули было обратно в свою сторону, и Толокно уже хотел оставить машину, чтобы подорвать ее гранатой, но немцы опять тронулись в нашу сторону, и Толокно успокоился. «Дурак, а понимает — жить хочет», — подумал он,

В своем подразделении, куда Толокно, сдав сначала танк с экипажем трофейной команды, благополучно возвратился, командир поблагодарил и поцеловал сапера, а повар сказал:

— А мы думали, что тебя уж больше не будет!

— Нет, — ответил Иван Толокно, — я буду постоянно, ты всегда пищу держи для меня!

1943

ОБОРОНА СЕМИДВОРЬЯ

I

— Вперед, ребята, смерти нет! — воскликнул старший лейтенант Агеев и поднял кулак в знак наступления.

Ведущий поднялся с земли, с исходного положения, и, выставив левой рукой лопатку перед своим лицом, чтобы оградить его, побежал вперед. За ним вслед пошли бойцы подразделения.

Командир роты Агеев остался с небольшим резервом на месте и наблюдал за ходом атаки. Огонь артиллерии шел накатом над головами и работал на опережение атакующей цепи, указывая и давая красноармейцам свободу движения вперед; но немцы все еще дышали встречным огнем.

— Ничего, сейчас они помрут и не воскреснут! — сказал старший лейтенант Агеев.

Прежде он был моряком, потом его спешили в составе морского экипажа, и он пошел воевать по степям и равнинам, не зная до сей поры ни ранения, ни смерти. Он был невелик ростом, но родители его родили, а земля вскормила столь прочным существом, что никакое острие нигде не могло войти в его твердо скрученные мышцы, — ни в руки, ни в ноги, ни в грудь, никуда. Пухлое лицо Агеева имело постоянное кроткое, доверчивое выражение, отчего он походил на переросшего младенца, хотя ему сравнялось уже двадцать пять лет; но маленькие карие глаза его, утонувшие под лбом, светились тлеющими искрами, тая за собою внимательный и незаметный разум, опытный, как у старика.

— Скажи этой Былинке — видят ли они точно моих людей! — сказал Агеев связисту Мокротягову. — Обрадовались и лупят. По-моему, хватит огня, либо пусть несут его дальше.

— Есть, — отозвался Мокротягов и стал звонить Былинке — артиллерии.

Но артиллеристы видели точно: они приподняли накат огня и работали теперь на отсечение противника от путей его отхода или от помощи, которую ему могут подать из ближнего резерва.

Из малой семидворной деревеньки, что надлежало занять Агееву, все еще клокотали пулеметы врага, и атакующее подразделение начало зарываться в огородную почву на открытом, убойном месте, ослабев от потерь и желая передохнуть от гибели. До деревенской околицы бойцам осталось пройти всего метров сто, однако труден путь для живого сердца в этом невидимом, жалобно поющем потоке свинца.

Агеев понял положение.

— На последнем вздохе остановились! — сказал Агеев. — Чего они там залегли — помирать захотели?.. Пронять врага штыком до костей, где огонь его не достал!

— Едва ли, товарищ старший лейтенант, — там у нас не те люди, что зря ложатся, — ответил связист. — Они отдышку делают.

— Отдышку! — сказал Агеев. Он внимательно посмотрел на небо, где теплом восходил огонь и дым войны, и на опаленный изнемогший кустарник, росший здесь по земле, — на все, что жило и творилось сейчас в действительности.

Все вещества в раздельности существовали в природе, но из них можно было собрать и соединить любое нужное тело; равно и истина находилась сейчас где-то вблизи Агеева, в видимом мире, но она находилась в рассеянии и без пользы для человека, командиру же нужно было собрать эту истину в одно свое сознание, чтобы понять, как нужно одолеть противника. Существует решение любого вопроса, но важно, чтобы это решение образовалось в одной голове; кто этого сделать не может, для того земля и небо бесполезны.

Агеев прилег к земле к телефонному ящику и взял трубку.

— Былинка! — закричал он артиллерии. — Кирпич говорит... Размышляйте о том, что видите! Вы огонь пускаете, а сами дремлете... Прошу точного взаимодействия: мое переднее подразделение не преодолевает встречного пулеметного огня и впилося в землю. Потушите немецкую свечку впереди моей головы! Вы видите их огонь. Приблизьте немного свой огонь к голове моих людей, дайте прямой удар — не жалейте стали, поберегите нашу кровь... Хорошо... есть!

Он положил трубку, но в аппарате прогудел вызов. Агеев послушал. С командного пункта пока спрашивали, что предполагает делать старший лейтенант.

— Взять эту семидворку — вот что я предполагаю! — ответил Агеев. — У меня всегда одно предположение — расклепать врага на части. Нет, батальонного резерва мне не нужно, у меня своего резерва достаточно для операции. Есть, понимаю... Выполню — и не любой ценой, а малой кровью, я дорого им не плачу, — они не те люди, а мы те! Я подымаю свой резерв!

У него в резерве было семь человек. Он посмотрел в сторону неприятеля; немецкий пулемет не истощался в работе и по-прежнему бил по земле огнем. Но на той земле лежали, вкапываясь в нее от смерти, старые товарищи Агеева.

Он помнил их неразлучным сердцем и с тревожной совестью следил за работой дивизионной артиллерии. Разрывы снарядов опорожняли землю возле самого немецкого пулеметного гнезда, но пулемет — с малыми перерывами на зарядку и охлаждение — все еще работал в спокойном терпении.

«Ишь ты, там тоже ничего сидят солдаты, — подумал Агеев. — Это, наверно, там погреб остался под сельской многолавкой».

Он приказал своим людям поодиночке обойти деревню с флангов и выйти на проселок, — с тем чтобы истребить там остаток врага на выходе. Мокротягову Агеев велел оставить пока свое связное имущество на месте и поработать винтовкой и гранатой. И Мокротягов, согнувшись, пошел перелеском, куда нужно, по ту сторону сотлевшей в огне русской деревни.

Другие бойцы тоже пошли раздельно по заданному направлению, сам же Агеев, обегаясь, начал пробираться к своему залегшему подразделению.

Снаряд тяжело и замедленно прошел в воздухе, удаляясь на врага.

— Уважь меня! — попросил его Агеев. — Ишь, лодырь, как полетел: потихоньку! Ну, приноровись — и давай их в клочья!

Снаряд, словно послушавшись русского командира, рванул вверх прах в деревне и пресек дыхание неприятельского пулемета на его живом огне.

Агеев видел, как атакующая цепь, хранившая себя в земле, поднялась и пошла со штыками на последнее сокрушение врага.

Командир поспел в деревню к разделочному, завершающему бою, к рукопашной схватке. Немцев в живых еще оказалось штыков двадцать пять, сберегшихся в ямах и порушенных

закутках крестьянского хозяйства. Агеев заметил одного пожилого немца, уползавшего бурьяном на выход из деревни; к нему наперерез бежал один наш боец с нацеленным штыком, но Агеев упредил его и первым вышел на немца. Враг поднялся на командира и замахнулся автоматом, потому что стрелять ему было уже тесно и некогда. Командир же вовсе не стал употреблять своего оружия — он кратко, с мгновенной мощью, опустил свой кулак на скулу противника, вложив в этот удар все свое сердце, и лицо врага из продольного стало враз поперечным, и он пал к земле с треснувшими костями головы.

Резерв Агеева не успел миновать деревни, чтобы выйти на проселок, и все люди резерва также сошлись с неприятелем в рукопашной. Из врагов на проселок не вышел никто, все они остались вековать в здешней сельской земле.

Бойцы собрались все вместе, чтобы отдышаться, и сели возле своего командира. Артиллерия была теперь далеко вперед, на предупреждение противника.

Мокротягов стер ветошкой липкую чужую сырость со своего штыка и внимательно посмотрел на него:

— Штык, говорят, молодец, — сказал Мокротягов. — А кто такой кулак? Вон нынче наш командир одного хряпнул кулаком — планируй, что намертво.

— Кулак — кто? — произнес Агеев. — Если штык молодец, то кулак, считай, что родной отец...

— А ведь верно! — согласился один боец с размышляющими осторожными глазами. — Кулак тебе всего сподручней, и он тебе без ремонта, без припаса живет — как отрос однова, так и висит при тебе в боевой готовности.

— Пока тебе его не отшибут! — сказал Мокротягов.

— Ну что ж, отшибут — левой будешь, — не согласился размышляющий боец. — А и левую повредят — вестовым останешься, и то — солдат. При ногах человек всегда солдат, а уж ноги не будет, тогда ты никто; оставь войско, иди в кустари, лежи в тепле, и согревай поясницу, и поминай про войну внукам... А портянки тебе еще с вечера лежат сухие — добро поживать инвалидам.

— Какие портянки? К чему они тебе? — спросил Мокротягов. Ты же тогда безногий должен быть!

— Ну, а все ж таки, — возразил боец. — Может, у меня хоть одна нога останется: тем более ее в тепле и сухости беречь нужно. Одна нога — сиротка; рука — нет, та и одна живет нескучно...

Агеев прекратил беседу, готовую продолжаться до скончания жизни, если людям дать волю.

— Становись! — приказал Агеев.

Он задумался перед фронтом своих людей и тихо произнес:

— Труден наш враг, товарищи бойцы. Смертью он стоит против нас, но мы не страшимся смерти. После немца мы пойдем против смерти и также одолеем ее, потому что наука и знание будущих поколений получают высшее развитие. Тогда люди будут не такие, как мы, в них от наших страданий зачнется большая душа. Так что смерти нам по этому расчету быть не должно, а случится она, так это мы стерпим! Но для такого дела мало, однако, товарищи, умертвить врага огнем и штыком. Надо, главное, не отдать ему своей победы, не уступить вот этой нашей деревни и всей прочей родной земли. Война без отнятия у врага своей земли, что поле без урожая, — нам так нельзя. Приказываю вам — держать здесь оборону, покуда весь немец, который полезет сюда, обратно, не износится.

II

Агеев давно понял, что иа войне бой бывает кратким, но труд долгим и постоянным. И более всего война состоит из труда. Лопата и топор теперь потребны солдату наравне с автоматом, потому что лишь однажды нужно завоевать свою землю, но отстоять ее от повторных

ударов врага, может быть, надо десять раз. Солдат теперь не только воин, он строитель своих крепостей, и, лишь упираясь в них, он может томить врага насмерть и без отдачи назад идти вперед. С крепостями победа дается большим потом, но малой кровью, а без крепости — большой кровью.

Ради того Агеев разделил свою роту: одних людей он послал на проселок — нести службу боевого охранения, а другим велел строить дерево-земляные укрепления и заниматься в роте по хозяйству, для чего тоже нужна большая забота. Спать было пока некогда, но бойцу сперва надо быть живому, а без сна он терпеть может. Агеев и сам работал вручную, он собирал в погубленной деревне обгорелый, но еще пригодный лесной материал и делал на нем разметку для вязки узлов. Покрытие хода сообщения Агеев приказал строить в четыре наката, а огневых точек — в шесть.

— Аль мы тут век будем вековать, товарищ старший лейтенант? — спросил тот размышляющий боец, что любил все обсуждать и обо всем беседовать.

— Нет, мы тут должны мало быть, — сказал ему Агеев, — потому мы тут и городим такую крепость. А если б в два наката строили, тогда бы многие, правда, век тут вековали, а один накат — все на вечность бы легли...

— До самого воскрешения убитых, что ль, пока наука за силу возьмется?

— Да, до той поры так бы и проспали здесь. Тебе охота?

Боец поразмыслил.

— Оно бы все равно, раз потом советский народ войдет в свою полную силу и своей наукой нас снова к жизни подымет. А можно и повременить помирать — вдруг потом ошибка случится.

— Хватит тебе! — приказал Агеев. — Остановись бормотать. У тебя всегда ум идет, как задние колеса в чумацкой телеге: одно колесо по колее, а другое по целине...

— Так оно так и должно быть, товарищ старший лейтенант, одно колесо везет, а другое землю шупает. У человека то же: одно тянет, а другое окорачивает, иначе бы...

— Теши лежни в накат, — тебе я говорю! — приказал командир.

Вечер на закате угасал в ночь, и с востока надвигалась теплая покойная тьма. Редкая артиллерийская стрельба шла вдалеке на правом фланге, а вблизи никакого огня не было.

Агеев огляделся в местности и почувствовал, что тут ему хорошо. Будь бы мирное время, он всю жизнь мог бы здесь прожить счастливым: тут есть лес, земля должна рожать хорошо, есть суходол для выгона скотины, а в осохшей балке можно сложить прудовую плотину — срубить бы здесь новую избу и жить своим семейством среди народа...

Но сейчас Агеев хотел лишь того, чтобы тишина простояла до рассвета; тогда можно было бы закончить все земляные работы и положить накаты. Однако Агеев остерегался, что враг может не дать ему времени. Он кликнул к себе Мокротягова и велел ему добраться до узла связи на старой передовой, чтобы узнать, почему до сей поры не дают сюда телефонного конца: что они там, в домино, что ль, играют?

Через полчаса Мокротягов вернулся с двумя связистами; он их встретил на пути, они уже тянули сюда конец связи.

— Что же вы, черти! — сказал Агеев связистам. — Что, по-вашему, война?

Мокротягов знал, как нужно сказать, и ответил:

— Война — это высшее производство продукции, а именно — смерти врага-оккупанта, и наилучшая организация всех взаимодействующих частей, товарищ старший лейтенант!

— Точно, — согласился Агеев. — Давайте связь и становись все трое на земляные работы.

По связи Агееву сообщили положение противника по данным разведки и приказали крепче вжиться в землю, потому что с утра противник, возможно, начнет наносить контрудары.

— Ладно, — сказал Агеев. — А вы подбросьте мне саперов, харчей и боезапас.

— Свободных саперов нету, — ответили Агееву. — Ты там старайся жить поскупее, а драться по-богатому. Понятно? Но харчи и боезапас пришлем тебе вскорости. Ты гляди — ты тех людей, которых мы к тебе с добром пришлем, у себя не оставляй, а то вы любите чужой народ усыновлять...

Агеев положил трубку и подумал в молчаливой печали: «Он правду говорит: трудно сейчас нашему народу — весь мир он несет на своих плечах, так пускай же мне будет труднее всех».

Он пошел к уцелевшей кладке каменного фундамента, возле которого бойцы отрывали грунт для пулеметного гнезда, и там взял лопату. И он стал утешать себя и смирять в работе, грея лопату в заматерелой, тяжелой земле. Бойцы поспешали вослед командиру, хоть и непосильно им было спешить: ели они давно и за двое последних суток отдыхали лишь однажды, когда лежали на огороде под огнем, но и тогда они копали землю под собой. Теперь они чувствовали, как до самых костей томится их тело при каждой усилении работы, но они терпеливо вонзали железо в грунт и рвали его прочь, потому что сейчас лишь в этом была нужда войны и жизни.

— Все говорили, что души в человеке нету! — сказал Мокротягов, ощупывая теплое лезвие своей лопаты. — А что же есть? Одно бы сухое тело давно уморилось и умерло бы...

Боец, обо всем размышляющий, приволок в одиночку тяжелую стойку. Отдышавшись, он начал ее устанавливать в теснине земляного хода и расслышал, что говорил Мокротягов.

— Немец бы, если б он мною был, он бы помер и сопел бы уж, — сказал этот боец. — А я все воюю, и, должно, придется победу еще одержать! Вот премудрость-то... Знаешь что, товарищ Мокротягов, — ты, конечно, связист, ты понимаешь чуть-чуть...

— Опять ты бормочешь там! — закричал из тьмы земляного котлована Агеев.

— Я бормочу, а сам действую, товарищ старший лейтенант! — сообщил боец.

Уже давно свечерело. Снаружи слышались посторонние голоса. Обозные люди пешком принесли горячую пищу в термосах и боеприпасы. Агеев велел своим людям покушать, а сам вышел из котлована наружу, чтобы проведать посты боевого охранения. Он посмотрел на возвышенные звезды, глядевшие с неба навстречу ему своим перемежающимся, словно шепчущим светом.

— Не понимаю вас, — ответил Агеев звездам, — после войны пойму, сейчас заботы много.

Его заботило, что вся эта семидворная деревенька и район вокруг нее хорошо пристрелены немцами, все расстояния также известны им в точности. Как же тут быть, чтобы удержаться с малой силой?

III

Время ушло за полночь к утреннему рассвету. Агеев находился возле проселочной дороги, уходящей в сторону утихшего врага.

Всего у него было здесь четыре поста; два из них он оставил на сторожевой службе, но разделил их на четыре поста, чтобы линия просмотра и охранения не уменьшилась. А восемь человек из других двух постов он повел за собою в убогое, темное поле, не рожавшее теперь ничего. Там он отыскал с бойцами мощную воронку и велел спланировать ее откосы, обваловать и покрыть накатом, чтобы образовалось пулеметное гнездо.

С этого места хорошо простреливалась проселочная дорога и целина на подходах к флангам Семидворья.

— Мы на них земляной войной теперь пойдем! — сказал Агеев. — Будем брать у них нашу землю верстами, но укреплять каждый вершок.

— Это дело! — высказался один боец. — Оно, конечно, трудно, зато умно. А землю железо никогда не возьмет, она хоть и мягкая, да не лопается и не умирает.

— Давайте, ребята, до первого света закончим эту задачу! Ты гляди здесь, Вяхирев, — сказал Агеев, обращаясь к сержанту. — Враг тебя тут никак не минует.

В самом Семидворье бойцы, по темному ночному делу, не управились отыскать и заготовить столько годного лесного материала, чтобы его хватило на всю потребность. Поэтому пулеметные гнезда покрыли лишь в три наката, а ход сообщения оставили вовсе без покрытия. Однако Агеев решил работать в земле и во время самого боя, пока не будет нужды во всех штыках до единого. Для того он отрядил по своему выбору двадцать человек бойцов в землекопы и дал им урок, чтоб они отрывали долгий окоп в сторону врага, начав его от середины хода сообщения и вели его вперед до самого взгорья и под самое взгорье, что валом возвышалось невдалеке. Агеев решил обороняться, въедаясь навстречу противнику, а еще более того, он желал иметь постоянно в запасе укрытия и места для огневых позиций, если построенные гнезда будут разрушены. Командир приказал начать работу немедленно и оставить ее лишь ради боя по его команде.

— Мы должны теперь научиться маневрировать в земле под огнем! — объяснил он задачу бойцам. — Работы будет много, а урона в людях мало, и мы сначала упрямся врагу в грудь, а потом попрем его насквозь и тронемся далее вперед!

— А как же нам сообразить, товарищ старший лейтенант, чтоб всем гуртом один проход копать и пятки друг другу лопатами не посесть? — спросил постоянно размышляющий, говорящий боец.

— Сообрази сам! — ответил Агеев.

Боец озадачился, и слышно стало, как в бормотании работала его неясная мысль.

— Долго думаешь, — сказал Агеев. — Каждому бойцу своя дистанция и свой урок, каждый сразу вкапывается в землю, а потом бойцы перекапывают между собой в грунте перепонки и соединяют всю линию работы в одно. Ясно теперь? Работу начинать по моей команде... А теперь закончим отделку наших крепостей по-житейскому, чтоб в них как в чистых избах было, есть еще время до рассвета! Мокротягов, становись к аппарату на связь!

Таинственное звездное видение ночи стало смеркаться в небе, не понятное людьми; враг не давал людям времени, чтобы они из Семидворья подняли глаза к небу, и враг не дал нынче срока людям увидеть рассвет и восход солнца.

Воздух загудел вдали, и Агеев приказал бойцам занять свои места. На посты боевого охранения он послал связного, — с тем, чтобы все тамошние бойцы соединились в новом укрытии под командой сержанта и вели наблюдение, а по надобности — огонь.

Три бомбардировщика вышли из сумрака над Семидворьем и бросились по очереди к земле на сокрушение ее.

Бойцы в земле были безмолвны и чутко сжимали в руках свою надежду — оружие. Агеев вслушался в свист вонзающейся в воздух пикирующей машины и крикнул своим людям:

— Не по цели идет... Спокойно, бессмертные мои! Самолет с жестким усилием мотора пошел обратно в высоту мира, гремя по небу, как по твердыне, но его заглушил пронзающий вопль бомбы.

Агеев глядел наружу в скважину из пулеметного гнезда.

— Мимо! — сказал он. — Погрешность: пятьдесят — шестьдесят метров. Вес бомбы — двести пятьдесят. Мокротягов, дай связь на командный пункт...

Но самолеты лишь начали бой. Они равнодушно продолжали работу, сделав три захода, чтобы полностью опорожниться от боезапаса; их машины и материал работали в пределах своей прочности, в норме спокойствия, и только человек существовал с содроганием, обучаясь новой жизни возле своей гибели.

После ухода самолетов Агеев сейчас же опять поставил на работу землекопную команду; он велел своим людям спешить, а троих бойцов отрядил оправить завалы возле огневых гнезд, поврежденные воздушной волной.

С проселочной дороги возвратился связной и доложил командиру, что в боевом охранении раненых и поврежденных нету никого, но убито при переходе в земляное укрепление четыре души.

— Кто же это? — спросил Агеев.

— Антонов, Селиверстов, Петенко и Сигаев, товарищ старший лейтенант! — сообщил связной.

— Командира к телефону! — крикнул Мокротягов.

— Обождать! — сказал Агеев. — Кто, ты говоришь, погиб?

Связной повторил и добавил свое пояснение:

— Они открыли огонь по самолету и обнаружили себя, а другой самолет накрыл цель.

Агеев огляделся в раннем рассветном мире. Он искал в нем соответствия своему горю и отражения гибели людей, но в мире все существовало, как было, с обыкновенным равнодушием — или Агеев был не зорек и не рассмотрел перемен в природе.

К Агееву подошел Мокротягов и прочитал ему по бумажке:

— Командный пункт сообщает: ожидать огня с воздуха и артиллерии, а потом танковой атаки их машин среднего веса. А мы зато будем поддержаны самоходной артиллерией. В конце приказано — противника сдерживать, а также измучить его в потерях.

— Ответь: все ясно, приказание понято, — сказал Агеев и отошел в одиночестве.

Отошедши в пустое поле, Агеев обернулся к восходящему солнцу. Он внимательно взгляделся, как оно светит: «Ничего, — решил он, — хоть ты не потухай!»

Он вернулся к укреплению. Бойцы рыли добавочный, запасной окоп. Размышляющий, многоречивый боец уже врылся по пояс на своем уроке; он серьезно посмотрел на Агеева и кратко спросил:

— Вы что, товарищ командир?

— Ничего... Копай!

Все работающие бойцы молча следили взором за командиром, и он остановился перед ними.

— Я ничего... Товарищи, четверых из нас нет. Они уснули долгим сном, наши бойцы. Антонов мог писать стихи в газете, в нем умер Пушкин, не написавший главных сочинений. Петенко мог быть великим ученым — механиком, он имел медаль Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, и в уме его погиб такой же великий машинист, как Уатт или Ползунов, о которых я вам читал вслух по книгам, когда мы стояли в резерве. Товарищ Селиверстов никем не был, он был добрым, и он тоже умер. Сигаев был воином и великим сыном Родины: его дважды ранило под Ольховаткой, но он не ушел с поля и дрался, пока его не ранило в третий раз, и тогда он тоже не ушел из боя, а просто забылся без памяти... Нельзя без них счастливо жить, товарищи. Без них для нас весь мир — сирота. Зачем же нам позволять смерти уносить от нас самое необходимое добро. Это и по-хозяйски плохо. И мы должны сегодня же идти вперед к высшей, правильной истине, и как можно скорее. Истина же теперь, — я вам это верно говорю, — истина теперь в бою, она есть наша победа, и мы должны ее добыть. Такова наша жизнь и задача!

Сознательный, обо всем размышляющий боец прослушал внимательно все слова Агеева и тихо осудил командира:

— Пока он говорил, я землю не копал, а это по дисциплине неверно... Конечно, товарищ старший лейтенант говорит правильно: раз я убит, раз я имею в жизни свой недожиток, то мне его полагается дожить — давай его сюда обратно, это моя порция, иначе беспорядок получится.

Но в сердце этого бойца тоже была память и тоска по убитым товарищам, и он подумал: «Нет, правду говорит командир, мертвым человеком быть пусто и убыточно, а живому должно быть стыдно; ведь мертвый-то за тебя умер, сукин ты сын, а ты хочешь жить только за одного себя; это, брат, не выйдет! А если выйдет, тогда печально станет, тогда грош нам всем цена в базарный день в воскресенье...»

В небе прошумел легкий пристрелочий снаряд и разорвался на огородах за Семидворьем.

— Щупает! — сказал один боец, рывший землю с закрытыми дремлющими глазами.

— По-хозяйски шупает, — заговорил другой красноармеец, — трехдюймовым, чтоб недорого обошлось. Потом уж потяжелее даст и почаще, когда по телу попадет...

Красноармейская подвижная артиллерия сейчас же ответила по врагу из ближнего тыла. Немцы, переждав немного и подсчитав, что им выгодней, начали бить по верху Семидворья по русской артиллерии, желая ее подавить как помеху. Русские самоходные пушки, меняя позиции, изредка били в глубину врага тревожащим, отвлекающим огнем. Немцы же раз от разу учащали огонь, вводя в работу целую батарею среднего калибра, не считая нескольких легких орудий. Огонь шел по небу над Семидворьем, а внизу на земле было спокойно. Агеев тотчас же понял свою пользу и вывел из укрытия два взвода на помощь работающим в земле. Он хотел скорее продолжить запасной окоп, довести его до взгорья, за которым уже кончалась деревня и шла проселочная дорога на запад, и врыть этот окоп под самое взгорье, чтобы образовать там добавочное укрытие и новое огневое гнездо.

Командир сам стал за лопату и начал вскрывать землю у подножия взгорья.

— Скорее, ребята! — приказал он бойцам. — Скорее давай кончать полевою фортификацию!

Бойцы с усердием рушили грунт, чувствуя сейчас, как тяжело подается вековой прах их привычным рукам, и стараясь, чтобы у них сами собой не закрылись глаза, натруженные без сна до кровяных жил.

— А может, немец сейчас поумнеет, и мы не успеем урок откопать, — высказался постоянно думающий боец.

— Поумнеть вовремя мало кто поспевает, — пояснил командир. — А немец и подавно не поумнеет... Ум растет у человека из сердца, а у немца сердце пустое, и туда Гитлер свою начинку положил. С той начинки разум в немце никогда не примется, и мы окончим немца!

— Да, пожалуй что, так оно и выйдет, — согласился дальний от Агеева боец Палагин. — У немцев ум заводной, а у нас хоть иногда дурной, да живой, — так мне мой отец еще с той войны говорил...

Агеев вновь поторопил бойцов. По длине более половины окопа уже близка была к отделке: теперь нужно было удлинить его еще и врыть потайной пещерой во взгорье.

Артиллерийская стрельба пошла теснее по воздуху; немцы били часто, работая на подавление русского огня, красноармейские же пушки действовали на предупреждение и беспокойство противника, они громили подходы к новому рубежу своей пехоты и давали время ей обжиться.

Агеев направился в укрепление к телефону; он хотел поговорить с командиром батальона о боевом положении всего участка; кроме того, рота нуждалась в табаке. Пока командир роты говорил с батальоном, немцы еще добавили огня; теперь два или три орудия врага начали бить по Семидворью.

Агеев хотел выйти наружу к своим людям, но его посунуло воздухом обратно в ход сообщения: снаряд разверз землю возле второй огневой точки и, должно быть, повредил его накат. Выбравшись затем на дневную поверхность, Агеев увидел, что размышляющий боец, по фамилии Афонин, лежа на животе, копал землю под самым увалом взгорья, а остальные бойцы опустились на дно готового окопа и там умолкли. Агеев сообразил по расположению двух ближних воронок, что их не могла умертвить взрывная волна, а осколок солдата в земле не возьмет.

— Чего они? — спросил командир у Афонина.

— Сейчас, — сказал Афонин и накрыл голову лопатой, услышав гул несущегося снаряда.

— Они поуснули, — объяснил Афонин потом. — Я тоже было уснул, когда меня побаюкала первая волна, но я-то опомнился.

Агеев пошел по окопу. Бойцы спали, согнувшись на корточках; им было неудобно, но лица их имели кроткое счастливое выражение и дыхание их было спокойно, словно все они отлучились в другой мир.

Два снаряда точным попаданием завалили ход сообщения, отрытый ночью, и повредили огневую укрепленную точку, где находился телефон. Спящие пошевелились и забормотали, но не очнулись от сна.

— Становись! — закричал тогда Агеев спящим и, схватив под мышки ближнего бойца, поднял его на ноги.

Бойцы пробудились и сразу не поняли, где они живут; им не снилось ничего, и они не помнили себя, когда спали, но они пережили во сне темное счастье покоя.

Огонь врага пошел на удаление и бил сейчас по огородам, работая на отсечение агеевского подразделения от тыла.

— Давай дальше вперед — в землю! — приказал Агеев проснувшимся бойцам.

IV

Окоп, подведенный к подошве малого холма или взгорья, бойцы, по указанию командира, развели на три конца и стали их вводить в глубину, под тот холм.

День теперь горел по всему свету, и жарко было на земле, согреваемой солнцем с неба и пушечным огнем.

Агеев полез с лопатой в заваленное укрепление, где был телефон. Но к нему навстречу тоже откапывался кто-то сквозь сыпучую мягкость.

— Ты кто? — крикнул Агеев в грунт.

— Я Мокротягов, товарищ командир. Пулеметы в исправности, боезапас цел, блиндаж тоже ничего, бойцы здесь курят, а связи нету...

— Иди на свет!

К Агееву подполз боец Морковников.

— Вас спрашивают на левом фланге, товарищ старший лейтенант.

Агеев пробрался по ходу сообщения к своему левому флангу. Там стоял в траншее измученный человек со следами земли на лице и одежде.

— Я офицер связи, товарищ старший лейтенант, разрешите передать сообщение...

Агеев и офицер перешли в ближнюю воронку и остались там в одиночестве.

Офицер связи рассказал Агееву обстановку боя:

— В штабе части есть точные сведения — центральный удар противника будет развит в направлении Семидворья. Мы должны здесь оказать торможение движению противника. Вам приказано держаться. Важно, чтобы противнику убедился, как нам необходимо это Семидворье. А нам оно по обстановке совсем не нужно. На дальних флангах вашего подразделения пойдут вперед наши главные силы и сомкнутся на западе, впереди вашего расположения, а Семидворье к вечеру или ночью очутится внутри нашего яйца. Но сердцевина боя будет у нас — сюда будет валиться противник, а вы его заманивайте к себе на смерть своим сопротивлением. Вам надо держаться. Решение же боя будет не у вас; здесь вы ведете лишь демонстративную оборону: таков смысл ваших действий. Понятна задача, товарищ старший лейтенант?

— Понятна, товарищ лейтенант, — ответил Агеев.

— Желаю успеха, — сказал офицер связи и повторил: — Желаю успеха и победы. До свиданья... Прощайте, — добавил он затем и обнял Агеева, припав своим лицом к его плечу.

Агеев пошел ко взгорью. Передние бойцы, копавшие землю, уже скрылись вовсе под холмом, работая в недрах его, и оттуда они выдавали грунт наружу по цепи людей, стоявших в окопе. Все бойцы Агеева уже сейчас были почти в полной безопасности от осколочного и минометного огня; завалы же от близких попаданий тяжелых снарядов тоже были не страшны для людей с лопатами, укрытых в окопах и связанных между собой братством и командованием Агеева.

В полдень вступила в бой дальнобойная артиллерия противника тяжелых калибров, причем ранее действовавшие орудия тоже продолжали работать по своему назначению. Наша

артиллерия в ответ добавила огня, но отставала в своей энергии от противника, что являлось тайным умыслом, понятным здесь лишь одному командиру Агееву.

Теперь в Семидворье и вокруг него земля разделялась огнем на части и лишалась жизни, а оставшаяся еще не тронутая дрожала в мучении, бережно храня в себе зародыши и корни хлебных трав, как последнее наследство и достояние.

Бойцы одновременно отрывали три пещеры в глубине холма. Эти земляные горницы были спущены ниже поверхности и находились уже в глинистом водоупоре, глубже почвенного слоя. Так приказал сделать Агеев; он понимал, что глинистый грунт упруго, нерушимо терпит удары и глушит гул канонады, поэтому люди здесь могли успокоиться от устрашения и быть в безопасности; только прямой удар тяжелого снаряда мог завалить одно из подземных укрытий, хотя толщина грунтового подспудного свода была не менее двух метров в самом слабом месте, что при выходе из окопа.

Обойдя эти подземные крепости, Агеев велел их доделать с уютом и выбрать начисто всю сорную мелочь, а потом подмести и при первой возможности украсить помещения травой, ветвями и ротным культурным инвентарем.

Обеспокоившись за свой пост боевого охранения, помещенный в укрытие у проселка, Агеев подозвал к себе Мокротягова.

— Связи нет, и едва ли она скоро будет... Можешь сходить к нашим на проселок и назад вернуться? Только вернуться живым! Как они там, наши товарищи, — чем им помочь... Пойдут танки — пусть сначала пропускают их на нас; а когда мы их тут станем рвать гранатами, тогда и они должны открыть огонь и вцепиться противнику в хвост, это больше встревожит врага. А сперва они пусть помалкивают и берегут себя. Скажи им так.

— Точно, товарищ старший лейтенант. Все понятно.

— А твоя задача какая?

— Уцелеть и вернуться!

— Ступай! Бери автомат, лопатку — и ползи.

Мокротягов ушел на поверхность, чтобы искать себе путь в промежутках огня неприятеля.

Газ от разорвавшихся снарядов постепенно проникал и в подземные укрытия, и только живой запах пота работающих бойцов отбивал смертную сухую гарь чуждых веществ.

Агеев велел на ночных, старых фортификациях — в двух огневых точках и в ходе сообщения — оставить шесть человек, а всех остальных бойцов свести сюда, в глубину прочной земли. С этим распоряжением он послал наружу Афонина, приказав ему самому остаться там для наблюдения, особенно же для просмотра проселочной дороги до самого горизонта.

Содрогание земли происходило теперь постоянно, потому что огонь врага рушился на Семидворье потоком. Грунт в подземных укрытиях крошился и осыпался со стен и верхнего слоя. Затем он стал валиться комьями и плитами. Агеев измерял по беспокойству земли силу неприятельского обстрела. Он решил пока что прекратить всю подземную работу, чтобы бойцы опаматовались и отдохнули перед сражением; он пожалел у каждого бойца его измученное тело.

Люди с наружных фортификаций стали по очереди входить под землю. Агеев велел им размещаться лишь в двух укрытиях, садясь впритирку друг возле друга, а третье укрытие он оставил пустым — для раненых, больных и изможденных.

— Все разместились? — спросил Агеев в первом укрытии.

Дремлющие бойцы, стеснившись друг к другу, сидели в сумрачной мгле, осыпаемые дрожащим прахом.

— Все, что ль?

— Восьмеро там остались, — ответили бойцы. — Огневую на правом фланге кверху подняло и на огороды бросило. — Восьмеро там было.

Агеев вышел в окоп. Афонин волок по низу раненого бойца и на ходу утешал его:

— Забудься пока и усни; проснешься, все тихо будет и свет на добро переменится, — тебе я говорю!

— Девятый, что ль? — спросил командир.

— Мало считаете, товарищ командир, — прокричал Афонин в гуле и ударах огня, — там еще таковых в проходе сообщения пятеро повалилось. Наказанье — таких мужиков тратить... кто их подобных теперь сызнова нарожает? Где такие бабы-матери!..

— Давай его в третье, крайнее, укрытие, там наш медпункт будет, — указал Агеев. — Кликни Симакова-фельдшера...

Фельдшер Симаков, однако, шел следом за Афониним и нес на себе другого ослабевшего бойца с сочившейся изо рта кровью.

Агеев прошел в огневую точку на левом фланге; она была наполовину завалена и покалечена, но еще годная.

Оттуда, сквозь щель для пулеметного ствола, Агеев начал сам вести наблюдение за проселочной дорогой и окрестностью в стороне врага.

Мокротягов как ушел в укрепленный пост у проселка, так и не возвращался еще. Что там осталось? Дышит ли там кто в живых?

Местность теперь всюду изменилась, против того, какой она была утром. Пыль и дым покрыли смутной наволочью всю землю, и в том сумраке внезапно и часто сверкало мгновенное пламя разрывов. Это действовала наша артиллерия, не давая врагу превозмочь пути на Семидворье.

«Хорошо!» — подумал Агеев; он любил видеть силу человечества в огне и машинах; это питало в нем верную надежду на высшую жизнь в будущем.

К нему подошел Афонин:

— Что мне делать, товарищ старший лейтенант, я все поделал, а теперь томлюсь и говорю ненужные мысли...

— Терпеть надо, Афонин, чтоб уцелеть и встретить живого врага... Сколько у нас мертвых?

— Шестеро померло, седьмой помирает, а восьмой тоже не жилец.

— Оставили они нас одних, — сказал Агеев. — Иди, Афонин, в тот конец хода сообщения, там шестеро бойцов ведут службу наблюдения: скажи им, я велел, пусть уходят в укрытие под взгорье... Мы здесь будем с тобой одни.

Афонин пошел, согнувшись, в тесной земле. И тотчас свет на земле померк, и стало темно и глухо. Агеев испугался, ему показалось, что это внезапно угасло солнце. Но он сразу понял свое заблуждение и утешился в здравом понятии: «Это один я умираю, и мне одному темно, а весь свет цел, только он живет теперь без меня». Однако Агеев вспомнил, что бой не кончен и без него там трудно придется бойцам. И тогда он вскрикнул и резко двинулся телом, чтобы рвануть свое обмершее сердце обратно к жизни. Но он почувствовал теперь, как его теснит вокруг и душит тяжкая земля, и неслышно ему ничего, даже крик его не раздастся здесь, и Агеев лишь мысленно слышит его звук, а сам безмолвен и погребен. Он понял, что ему немного осталось дышать, и начал думать те главные, важные мысли, которые человек всегда откладывает додумать, занятый заботами и надеясь жить долго. Но его опять побеспокоили.

Афонин прорыл снаружи завал в блиндаже и на ощупь нашел тело Агеева.

— Это ты, командир?.. Готово дело, что ль?

Агеев увидел прояснившийся сумрак и с заклокотавшим дыханием обхватил руками шею Афонина, глядевшего на него из просвета.

— Как там у нас? Где мои люди? — спросил командир. — Что там было без меня? — Он не был уверен, снится ли ему Афонин или он был правдой, но он все равно решил действовать по правде.

— Живой еще? — сказал Афонин. — А я думал, что уже — готово дело... Ну, пошли дальше жить, раз ты хочешь.

Афонин выволок Агеева в ход сообщения и поставил его на ноги.

— Ишь как, значит, это правда! — сказал Агеев; он увидел свет над землей, но свет этот вдруг помрачился вырванной кверху землей, а затем опять прояснился.

«Это хорошо, — подумал Агеев. — Бой еще идет. Хорошо в бою быть живым».

И снова Агеев увидел, как обычный свет солнца на мгновение сменился нежным голубым сиянием взрыва, чистоты которого он не замечал прежде, и тьмою разрушаемой измученной земли. Агеев удивился тому, что и в огне смерти есть то же кроткое сияющее вещество, которое содержится, должно быть, в его сердце и в теле человека.

— Что тут было без меня, Афонин? — спросил Агеев. Афонин доложил ему по форме, но Агеев ничего не услышал.

— Я глухой! — сказал командир.

Афонин повторил свое сообщение: Агеев смотрел на его лицо и постепенно понимал: средний каземат во взгорье разрушен попаданием фугаса большого калибра, а что касается шестерых бойцов на правом фланге хода сообщения, то они убиты взрывной волной, и вдобавок их пронзили осколочные снаряды, но бойцы как стояли живыми, так и остались стоять мертвыми, потому что окоп в том месте был узкий, его не дорыли на ширину и упасть умершему телу там неудобно.

— Пусть они стоят там! — приказал Агеев.

— Это что ж тогда получится, товарищ командир? — заинтересовался Афонин. — Тактика, что ль, такая?

Агеев глядел вдаль и не слышал Афонина. Он добрался по обрушенному окопу до взгорья. Там в ходу сообщения между пулеметными гнездами, шестеро мертвых бойцов стояли в ряд по плечи в земле, обратив к нему потемневшие, спокойные, словно задумавшиеся лица. И автоматы лежали возле них в боевом положении. У одного бойца голова, однако, вдруг поникла в сторону, и он почти припал щекою к песчаной отсыпи.

— Пойди стань возле них, — сказал Агеев Афонину. — Возьми побольше гранат. Ты слышишь — стрельбы по нас нету, я не вижу больше огня...

«Я-то все вижу и слышу, товарищ глухой старший лейтенант, сейчас к нам немцы грянут, — отвечал про себя Афонин. — Сам не слышит, а соображает правильно. А пить и есть охота, даже душа болит от такой низости. Да где ж тут попьешь и покушаешь — до победы не проси...»

V

В Семидворье теперь наступила тишина; снаряды шли по высоте, и огонь земли не трогал.

К Агееву подбежал изнемогший, черный с лица Мокротягов. Он прибыл с проселка.

— Танки врага, товарищ командир!..

Агеев, не расслышав, понял его точно. Он стал на возвышение земли и посмотрел на горизонт. Оттуда, правда, шло пыльное облако, сверкая против солнца белым огнем выстрелов.

— Целы там наши? Кричи мне в ухо! — сказал командир Мокротягову.

— Двоих подранило, но не трудно. Остальные целиком здоровы.

— Кто там командует — Вяхирев?

— Точно, товарищ старший лейтенант, — сержант Вяхирев!

— Понятно... Что при тебе — автомат? Иди становись туда, где стоят мертвые; там есть живой Афонин. Встречать будешь противника оттуда. Понял? Шуми мне громче, у меня уши ослабли.

— Есть! — прокричал Мокротягов. — А как связь, товарищ старший лейтенант?

— После боя позаботимся... Ступай становись! Сейчас со связью не выйдет дело.

Агеев вызвал из укрытия старшину Сычова.

— Я буду там, где наши мертвые — в том ходе сообщения. Ты видишь, где они? Понятно тебе?.. Мы первые встретим противника, и он пойдет на нас машинами. Ты следишь за обстановкой и выводишь подразделение, когда тебе выгодно, но позже того, как я приму первый удар на свою цель. Понятно? Потом я сам возьму общее командование.

— Есть, — понял Сычов.

— Готовь людей и действуй! — приказал Агеев. — Помни — смерти нет, если мы отстоим нашу родину, где живет истина и разум всего человечества.

— Есть, — согласился Сычов и улыбнулся своей мысли. — Да вы не думайте долго о нас, товарищ командир, и не болейте своей душой... Солдат должен уметь помирать навеки и всерьез, если к тому бывает нужда и от того народу польза. А то какой же он солдат? Тогда он помирать избалуется, раз ему смерть нипочем, раз ему сызнова положена жизнь! Разрешите идти, товарищ старший лейтенант.

Агеев не услышал Сычова и молчал, и старшина пошел к бойцам, оглянувшись затем на безответного командира. Агеев понял его и улыбнулся ему вослед. Командир любил своего старшину за все его обычные признаки и свойства — за рябое обширное лицо, за солдатское терпение, за строгое обеспечение всем положенным рядового бойца и за равнодушное, но расчетливое поведение в бою. В мирном положении Сычов был обыкновенно озабочен и даже встревожен текущими делами по роте. Но в бою все заботы отходили от него прочь и сознание его, ничем более не занятое, работало лишь на пользу боя, и так как он бессмысленно не волновался за свою участь — будет он живой или нет, — то мысль его была здравая, а действия разумными. Он боялся не вообще смерти, а смерти убыточной, когда боец погибает, истратив впустую один патрон; когда же боец погибал, порядочно истощив врага, такой смерти Сычов не боялся: он считал, что раз уж ее миновать нельзя, то она должна дорого стоить врагу. На войну Сычов смотрел как на хозяйство, в котором, как хлеб в колхозе, должна в изобилии производиться смерть неприятеля, и он аккуратно считал и записывал труд своей роты по накоплению павшего врага.

Сычов вел войну экономически и бережливо; если рота бывала иногда без боевого дела или стояла на отдыхе во втором эшелоне, а бойцы поправлялись и не жалели на себя пищи, Сычов не попрекал бойцов, однако размышлял, что бесполезная трата удовольствий на войне равняется пролитию крови своего народа, и тогда он молча сердчал. Когда рота в трех боях уничтожила столько же врагов, сколько в ней самой первоначально было бойцов, старшина с хозяйским удовлетворением доложил о том командиру: «Вот, — сказал он, — мы теперь себя оправдали и выкупили полностью», — и улыбнулся столь самодовольно, будто за малые деньги построил скотный двор или за полцены купил нужную вещь в свое семейство. Агеев любил старшину за умелость в бою и дельность в ротном хозяйстве, но не понимал его характера. Командир не мог вести войну на хозрасчете, как крестьянский двор, и чувствовал горе от потери своего бойца всегда: убил ли он перед смертью пятерых врагов или никого не убил. Сычов же считал лишь дела, а не души и гибель двоих немцев против смерти одного русского полагал мерой правильной. Может быть, это было и верно, но иногда Агеев думал, что напрасно немцы не знают лично старшину Сычова, тогда бы они остерегались воевать дальше, ибо такие люди, как Сычов, подытожат своего врага насмерть с точностью и обязательно. Против такого солдата, который воюет с той же алчной страстью, как копит дом для своего семейства, нету средств победы.

Агеев увидел свет разрыва снаряда над Семидворьем и поспешил на свое место — к Афонину, Мокротягову и погибшим бойцам. Немцы с хода изредка постреливали из танковых пушек, желая произвести добавочный ужас этой пальбой.

— Сколько их — ты не считал? — спросил Агеев у Афонина.

— Прикидывал, — прошумел Афонин в ухо командиру. — Я поверх завала на блиндаж лазил. Машин возле десятка будет... А правда, товарищ командир, может наука достичь того, что мы выздоровеем от смерти?

— Правда, Афонин, — сказал командир. — Лишь бы нам сберечь от врага наш народ, а в нашем народе есть сердце, и в нем будет память о нас. Но народ не всех упомнит, а только самых лучших своих бойцов...

— Что же мне одна память! — обиделся Афонин.

— Ты думай! — закричал Агеев. — Или человечество глупее тебя? Его память есть дело.

Танки гремели на приближение к Семидворью. Агеев потрогал за плечо труп бойца Инцертובה, стоявший возле него. «Окостенел уже человек», — подумал Агеев, чувствуя жесткость тела скончавшегося. И Агеев сам почувствовал в себе окостеневшее, жесткое сердце, способное вытерпеть любой удар врага и не утомиться от него.

— Афонин! — крикнул Агеев. Афонин приблизился.

— Ползи к Сычову... Пятнадцать бойцов выслать из укрытия — пусть они тихо, быстро, маскируясь займут позиции на окружение Семидворья. Командиром у них пускай будет младший сержант Потапов. Их задача — не выпускать отсюда живого врага, а если неприятель пойдет на одоление, выйти к нам на помощь как нашему резерву. Девятнадцать бойцов остаются у Сычова с прежней задачей. Ты вернешься к ним; мы с Мокротяговым будем у левофланговой огневой точки, мы зароемся в песчаный завал, ты залезай туда же...

Агеев и Мокротягов укрылись в песчаном сбросе; цепь мертвых бойцов теперь была против них, в другом конце хода сообщения.

Танки противника гремели уже на проселке и проходили, должно быть, передний пост Вяхирева. Пост молчал, затаившись в земле.

— Бьют наши на проселке? — спросил Агеев у Мокротягова.

— Молчат, пока не слышать, — ответил Мокротягов. «Правильно, — полагал Агеев, — пусть пока молчат, потом будут говорить; все равно в моей роте немец хлеба не получит».

Танки теперь шли без стрельбы, и Мокротягову уже слышно стало, как они сокрушают и мучают гусеницами подорожные самородные камни и поваленные на заграждение деревья. «Глухому воевать лучше — спокойней», — подумал Мокротягов о своем командире, смотревшем сейчас ясным взором перед собою — на своих шестерых погибших бойцов.

Мокротягов расслышал частые очереди автоматов.

— Наши у проселка открыли огонь! — крикнул он командиру. «Рано еще! — рассудил Агеев. — Но, может быть, им там видней!»

На огонь автоматов немцы ответили из пулеметов и пушек, но автоматы били настойчиво, вживаясь в бой и не выходя из него.

Два танка сразу появились в Семидворье; один перевалился через взгорье, а другой зашел с фланга и направился на шеренгу мертвецов, паля в них огнем из пулемета.

У Агеева стало свободней и легче на сердце. Враг был перед ним, на месте; все остальное было лишь терпеливым томлением ради этой неминуемой встречи.

Танк, губивший мертвецов, заглушил стрельбу, сделал поворот. Пятеро автоматчиков, таившихся на корпусе машины, прыгнули на землю, а танк пошел далее на проход, в русскую сторону. Автоматчики прикинули сначала к земле и осмотрелись: вокруг них был пустой безлюдный прах и мертвые люди в траншее. Немцы осторожно проползли к ходу сообщения и опустили в него поверх павших русских.

«Чего нет Афонина? — подумал Агеев. — Заговорился в укрытии».

Второй танк, пришедший через взгорье, тоже освободился от десанта в семь человек и ушел далее транзитом, вослед первому. Новые семеро врагов, увидев своих, свободно прошли по земле и прыгнули в ход сообщения. Врагов набралось уже порядочная шеренга, и скоро их фланг должен примкнуть к песчаному отвалу, в котором укрывались Агеев и Мокротягов, если еще добавится немцев.

Третий и четвертый танки прошли поперек хода сообщения, обваливая землю на своих и не сокращая хода. На телах машин беспомощно лежали солдаты — на одной машине трое, на другой четверо. Задняя машина, миновав траншею, рванула скоростью, и два солдата свали-

лись с нее, оставшись лежать на земле по-мертвому. Агеев понял, что это есть работа бойцов сержанта Вяхирева у проселка. «Он — ничего сержант!» — оценил командир и тронул Мокротягова:

— Пора!

Мокротягов давно ждал этой поры, и он дал из автомата затяжную очередь, правя огонь, сквозь все тела врагов, находившихся один за другим на прямой линии трубки его автомата. Агеев перехватил огонь Мокротягова на половине диска и пустил в работу свой автомат, чтобы обеспечить мгновенное истребление неприятеля дальнего фланга. Мокротягов выждал огонь командира и потратил остальную половину диска на уже повалившихся и поникших врагов, желая прочнее перестраховать их погибель. Но в то время четыре танка вступили в Семидворье. Замерев на месте, они открыли огонь из своих пулеметов, маневрируя на небольшом пространстве и поворачиваясь вокруг себя, чтобы надежно прострелять каждый квадрат и каждую скважину земной поверхности: вдобавок же к пулеметам с машин работали автоматчики десанта, тщательно выискивая цель.

В удалении — должно быть, на проселке — все еще били короткими очередями бойцы сержанта Вяхирева, но теперь их не стало слышно за огнем пулеметов.

Агеев велел Мокротягову глубже тонуть телом в песке и пробираться сквозь него в заваленный огневой блиндаж, потому что там Мокротягову будет укромней. Мокротягов хотел исполнить указание командира, но расслышал частые взрывы ручных гранат на проселке и хотел сказать оглошему командиру о том, что Вяхирев подрывает сейчас танки на их марше, однако Мокротягов успел лишь слабо вскрикнуть и вытянул вперед изнемогшие руки словно он желал уловить ими самого себя, уже исчезнувшего из жизни. Агеев поглядел на него; середина донышка фуражки Мокротягова вдавилась ему в темя ударом вонзившейся в голову пули, и он скончался мгновенно. «Он рядом со мной, — понял командир. — Но он сейчас дальше от меня, чем самая высокая последняя звезда на небе».

Агеев заглушенно слышал близкий огонь пулеметов и поэтому понимал ход боя. В поле его зрения появился танк; двое автоматчиков стояли на нем в рост и били в сторону взгорья — по входу в укрытие. Агеев дал по ним короткую очередь, чтобы они умолкли. Затем командир расслышал, как заработал пулемет Сычова из укрытия, и увидел, как огонь его вымел из окопа в ход сообщения троих немцев, которые тут же легли и утихли обхватив друг друга, — возле тех, что пали прежде. Сычов бил из пулемета наружу из глубины земли под взгорьем, оставаясь сам со своими бойцами в безопасности. Видимо, он работал сейчас на истребление врагов, забравшихся в окоп. Голые, обезлюдившие танки рычали и ползли по земле, ища решения боя. Они били теперь из пулеметов лишь по входу в укрытие под взгорьем, откуда трепетал жесткий огонь Сычова.

«Жаль, нам не придали бронебойных ружей, — подумал Агеев. — Придется управиться без них». Он чутко вслушивался в сражение, как в работу мастерской, и видел, что его рота трудится в бою регулярно и спокойно, словно ведя производство обычной полезной продукции, хотя это производство было высшим, внезапно действующим искусством, а полезная продукция называлась победой над врагом и над смертью своего народа; и командир почувствовал удовлетворение оттого, что он учил и одушевлял своих бойцов, а Сычов чеканил их дисциплиной.

— Ну дальше, дальше, скорее, милые, бессмертные мои! — говорил командир. Он так напрягся вниманием, что ему казалось, он все теперь слышал.

Танки противника отошли в сторону, чтобы взять дистанцию и оттуда они ударили из пушек по взгорью. Но из ближних огородов по тылам машин заработали автоматчики младшего сержанта Потапова, и там раздались взрывы ручных гранат. Одновременно, по другую сторону Семидворья, на проселке, также открыли огонь бойцы сержанта Вяхирева, работая, должно быть, на отвлечение противника.

«Хорошо, хорошо, — понимал Агеев, — это разумно и точно».

Четыре танка врага теперь стреляли из пушек и пулеметов по всем направлениям не-прицельным рассеивающимся огнем. Немцы продолжали сражаться из машин с неслабею-щей энергией, но смысл самого боя они утратили, потому что не знали точно расположения противника, его силы и замыслы — они шли на Семидворье как на пустое место, чтобы мино-вать его с хода, оставив здесь для закрепления десантный отряд; для победы же необходимо не только желание ее и действие боевых средств, но нужно еще непрерывно чувствовать разум-ный смысл течения боя, — смысл, рождаемый из правильного расчета командира.

Агеев радовался точности боя своей роты, он уже знал наперед, что сейчас должно слу-читься и что будет потом. Он радовался и за себя и за своего бойца, который боится не врага, а бессмысленности.

Танки продолжали вести огонь с небольшого удаления. Отряды Агеева затихли было без ответа, а затем враз, по точному чувству взаимной связи, открыли огонь по танкам. Сы-чов бил из укрытия, норовя вонзить очередь в живую скважину машины. Вяхирев стрелял из автоматов из-за взгорья, подойдя туда со своей уцелевшей группой с проселка. Потапов же обстреливал машины с тыла Семидворья. Немцы вращали огонь по местности, не успевая сосредоточиться.

Агеев выстрелил из своего автомата в пустое место, на взгорье, желая ввести в заблуж-дение противника, потому что такой выстрел мог сделать лишь немец, отлежавшийся в земле. Крышка люка одного танка дважды приподнялась и опустилась, что походило на сигнал при-ветствия или на знак, что выстрел Агеева понят с немецкой стороны как свой.

Один танк пошел прямо навстречу пулеметному огню Сычова: он налез на окоп и наглу-хо перекрыл бронированным телом вход в подземное укрытие. Другой танк перекрыл отвер-стие в убежище, где были раненные бойцы. Два остальных танка остановились возле и повели редкий огонь окрест — против отрядов Вяхирева и Потапова, беспокоивших издали врага; немцы берегли боезапас и стреляли теперь только по нужде, не давая своему противнику при-близиться к машинам.

Агеев расслышал по внешнему огню, что его бойцы устойчиво держат Семидворье в окружении, зарывшись в землю и не терпя потерь; земляная наука командира пошла им впрок — на спасение жизни и на долгое сопротивление врагу. Однако Агеев теперь видел лишь то, что происходило, но не знал, что должно случиться потом и как нужно действовать далее, немедленно, чтобы бой шел на непременно сокрушение неприятеля; он утратил пони-мание движущегося смысла боя и опечалился тому, от чего прежде радовался. Он боялся боя, который идет сам по себе, он верил в победу лишь того, кто ведет сражение как верное произ-водство. Но Агеев угадывал, что нельзя столь точно размыслить обо всем наперед и что своя победа часто высматривается среди сражения в противнике, — для этого надо лишь уметь понять невнятный намек и, сообразовав его со своим положением, найти единственное точное решение.

И сейчас Агеев искал этого намека или «языка» в поведении врага. Бой, в сущности, замер на месте. Машины противника столпились в Семидворье, но не обладают им; равно и рота Агеева находится здесь не свободно, не владеет землей.

Но пусть враг начнет действовать, и тогда утраченный смысл боя, как направление к победе, должен открыться.

Стрельба с танков вдруг участилась: били пулеметы и пушки в сторону огородов; должно быть, оттуда бойцы Потапова попытались приблизиться к машинам для удара по ним ручными гранатами. «Это зря, сейчас такое дело не выйдет, — решил Агеев. — У немцев огонь в руках и видимость». Затем стрельба утихла, и у одного танка, что перекрыл своим телом вход в бо-евое укрытие Сычова, приподнялась крышка люка. Оттуда на мгновение показался человек, поглядевший в сторону Агеева. Потом это повторилось еще раз, но по-другому, потому что Агеев выстрелил по врагу и следом за ним его бойцы дали очереди по башням всех танков, и поднятая было крышка враз опустилась.

Агеев догадался, что немцы хотели его позвать к себе, а теперь увидел, как хоботок танкового пулемета, обращенный в его сторону, опустился до нижнего предельного края прорези в броне и запылаел в своем устье огнем. Пули провели череду мелкой пылящей вспышки перед лицом Агеева, метрах в двух впереди него. Не отводя внимательного взора от пламенеющего дула пулемета, Агеев, не думая, начал ползти назад, утопая глубже в песок.

Пулемет прекратил огонь, и ствол его чуть приподнялся в прорези кверху. Агеев увидел, что от жизни его отделяют два-три метра; за этим расстоянием лежит не простреливаемая с машины зона; может быть, надо пройти вперед четыре или пять метров, чтобы жить, потому что другие две машины стояли чуть дальше и только одна еще ближе, — но все равно и пять метров — это недалеко пройти, чтобы жить. Однако сейчас, больше чем жизни, командир обрадовался своей мысли, подсказанной ему врагом; он узнал теперь способ решения боя и средство победы. Взяв в руку револьвер, Агеев поднялся из земляного завала и бросился вперед к танкам врага.

Он прошел почти весь путь и уже вступил на черту, по которой пули вспахивали прах перед его лицом, когда он лежал, и тут Агеев почувствовал, что у него в груди зародилось жаркое тепло, словно там открылось второе сердце. Он приостановился, как бы одолевая ветер, ударивший в него вдруг, потом опустился к земле и пополз по ней в тень танка. Добравшись до гусеницы, Агеев прилег там вниз лицом к примятым оробевшим былинкам и отдохнул.

— Сычов! — позвал Агеев. — Сычов! Копай землю сквозь, иди ко мне, окружай их по мертвой зоне. Гранаты в руки возьми!

Немцы за броней возились в своем хозяйстве и что-то недовольно бормотали. Агеев опробовал себе грудь под старой, еще не истлевшей на нем морской тельняшкой. На правой стороне груди, из-под ребра, у него медленно выходила кровь, и тело здесь было жаркое. «Ничего, она помаленьку идет, вся нескоро выйдет», — обсудил свое положение Агеев. Он осмотрелся вокруг, держа револьвер в правой руке, остерегаясь, что в него могут выстрелить из ручного оружия через какую-либо щель танка. Во избежание этой опасности, он прополз далее за гусеницу под самый корпус танка, где было покойней. Там он лежал возле обваленного танком окопа, в котором лежали мертвые немецкие солдаты.

Бойцы Вяхирева и Потапова время от времени били издали по броне машин, чтобы враг чувствовал их и не мог своевольничать. Немцы из машин им тоже отвечали огнем, но не часто, а по мере необходимости.

— Сычов! — закричал Агеев в сторону сычовского укрытия под взгорьем; он видел теперь в просвет под машиной, как навалился танк па входную щель и обрушил в нее грунт. Однако Агеев понял, что завал был сделан не вмертвую, а крошеными комьями — и воздух, значит, мог проходить к Сычову в скважины земли.

— Сычов, — тихо сказал Агеев, — что же ты, Сычов, ничего не думаешь... в бою, рябой черт...

Пот пошел по всему телу Агеева, и он сжался от озноба. «Отдохну, пока тихо, — решил командир. — Может, кровь остановится и я выздоровлю». Но он чувствовал, что кровь, как из родника, сочилась из груди и холодила его тело. «Что ж она все идет и идет! — огорчился командир. — Ведь мне некогда сейчас умирать!»

Он задремал, желая поздороветь немного, чтобы закончить бой живым человеком.

VI

Открыв глаза, он почувствовал человека, трогавшего его голову рукой. Агеев поднял револьвер на него, но человек прошумел ему в ухо:

— Это я, товарищ старший лейтенант: старшина Сычов!

Агеев обернулся лицом к Сычову.

— Где твои люди, Сычов?

Сычов указал левой рукой наружу, вокруг танка — в правой у него была граната, — и вновь припал к уху командира:

— По мертвой зоне округ всех четырех машин лежат, товарищ старший лейтенант, с оружием и гранатами наготове! Теперь противнику некуда податься, и он сомлеет тут на месте...

— Как же ты из-под земли людей своих вывел, как ты догадался, товарищ Сычов? Я тебя звал...

— Две пробоины сквозь цельный грунт сделали, товарищ командир, и прямо вышли впритирку к этой машине.

— А ты бы лучше под машину шел — в завале грунт мягче.

— Теперь-то оно видно. Да мы не сразу образумились и сквозь целину перли, а мякоти побоялись. Там в земле нам душно было, товарищ старший лейтенант, голова не думала...

— А что, Афонин ко мне не явился?

— А я его, товарищ командир, вместо Потапова на дело послал!

— А Потапов что?

— Скончался от ранения.

— А Вяхирев как живет?

— От него ко мне человек добрался, товарищ командир... Вяхирев солдат деловой, он две машины на дороге подбил и томит теперь их экипажи, чтоб в плен обратить... А троих своих бойцов он на нашу горушку с той стороны поставил, — пускай они проход копают в тот каземат, где у нас раненые были.

— Пускай они поскорее копают, Сычов. Скажи Вяхиреву спасибо.

Агеев пожалел, что нет сейчас возле него Вяхирева; он захотел еще раз увидеть своего двадцатилетнего сержанта — сероглазого, чистого лицом, прекрасного, как девушка, и милого Агееву, как младший брат. Вяхирев испытал много сражений, но еще ни разу тело его не было поражено раной, — может быть, прелесть его натуры была тайной силой, хранящей его от гибели...

Агеев пополз из-под танка наружу, где редкой цепью лежали его бойцы. Сычов выбрался за ним следом.

— Вы что так скоро дышите, товарищ командир? — спросил Сычов.

— Перевяжи меня, Сычов. У меня внутри плохо.

Бойцы молча лежали по земле с гранатами в руках, не сводя глаз с замерших машин врага. Немцы в таком же молчании смотрели на русских сквозь щели изнутри танков. Они могли бы тронуть танки с места и начать давить людей гусеницами или хотя бы выстрелить из револьвера в русского бойца, но тогда машина была бы сразу подорвана гранатами, а немцы хотели сберечь свое имущество. Русские же, находясь на открытом месте, не жалели своей жизни против железного противника.

Агеев увидел это безмолвие и мучительное напряжение человеческих сердец. Бойцу пора было отдохнуть, и поэтому надо поспешить с победой.

— До конца боя доживу? — спросил Агеев у перевязавшего его Сычова.

— Смотрите сами, товарищ старший лейтенант, — ответил старшина. — Я командовать ротой нипочем не могу, а более некому. Да тело у вас прочное, может, пуля и обживется внутри.

У Агеева стыла вся внутренность и болели ноги; будь бы он дома, мать бы растерла ему ноги и боль прошла, а грудь ему она согрела бы своим дыханием и укрыла сына тремя одеялами, напоив его чаем с малиной...

Сычов отвернулся от Агеева, и лицо его стало внимательным и задумчивым: он вслушивался.

— Что там? — спросил старшину Агеев.

— Танки идут с проселка.

Агеев понял. Танки, вероятно, вызваны немцами по радио на помощь. Нечего было далее томиться возле врага.

— Сычов! — позвал Агеев и затем приказал ему на ухо: — Передай по цепи: всем отодвинуться назад до самого края мертвой зоны, потом — гранатами по гусеницам! Ты бьешь первым — за тобой все сразу одновременно. После того всем ползти в прежнее укрытие и стать там в оборону против свежих машин. Понятно?

— Есть, — прошептал старшина. — Только близко бить гранатами придется, осколки будут своих вредить... Ползите назад, товарищ командир.

Сычов позвал знаком двух бойцов справа и слева от себя и тихо произнес им приказ.

— Пусть глядят, чтобы все по-умелому было и осколков остерегутся! — добавил старшина.

Немцы угадали что-то: в двух машинах у них взревели моторы. Но поздно уже было им соображать: Сычов, поднявшись в рост, сноровистой рукой метнул гранату в избранное его глазами гусеничное звено, и сам тотчас пал ниц лицом к земле, прикинув к ней как можно теснее. Машина вспыхнула в своем подножии белым пламенем и содрогнулась до самой башни. И враз вокруг стала рваться сталь огнем, чтобы враг здесь замер на месте навек.

Сычов и ближний свободный боец подняли командира и понесли его к новому проходу в укрытие.

В укрытии Сычов засветил фонарь, снял с себя шинель, постелил ее и положил на нее командира.

Бойцы быстро стали собираться в подземном каземате и усаживались, прижимаясь друг к другу, чтобы уместиться в тесноте.

— Сычов, — сказал Агеев, — ставь на оба входа по пулемету. Шестеро бойцов пусть будут снаружи, чтобы противник не выползал из машин — уничтожать его!

— Есть, — ответил Сычов.

— Выйди, послушай — подходят ли новые машины, сколько их по шуму, как их встречают там Вяхирев и Афонин. Давай скорее!

— Есть, — сказал старшина. — Как вы себя чувствуете теперь, товарищ командир?

— Я всегда чувствую себя хорошо, — улыбнулся Агеев.

Сычов ушел и не приходил долго. Потом он возвратился. Агеев, часто дыша, смотрел на него закатившимися, неморгающими глазами.

— Товарищ старший лейтенант, танки врага пошли с проселка в охват нашей местности, — доложил старшина. — А всего их будет, бойцы сосчитали, семнадцать машин и веса они нетяжелого, так что мы и без вас управимся, отдыхайте пока...

— А наши немцы что? — спросил Агеев.

— Пока что молчат в своих машинах. Да к вечеру сдадутся, они погибать не любят. Вам дать попить, товарищ командир? Я сейчас принесу.

— Не надо, — сказал Агеев. — Мне ничего не надо.

Все люди в укрытии сидели молча и старались дышать негромко и понемногу, чтобы не тратить на себя лишнего воздуха в тесной пещере.

Сычов опустился на колени возле командира и смотрел ему в лицо в ожидании, чего он скажет или чего захочет.

— Товарищ командир, живите сейчас с нами, — произнес старшина.

Агеев услышал его. Он смотрел на старшину глазами, взор из которых уже ушел, как влага в осохшем колодце; он часто дышал, еле успевая работать сердцем, и тяжким трудом добывал теперь себе каждое следующее мгновение жизни.

— Сейчас я не могу, Сычов. Сейчас я не могу жить.

— Ну ничего, товарищ командир. Вы отдохните пока. Сейчас не сможете, так потом будете жить.

Агеев еще старался дышать и смотреть на Сычова.

— Я потом тоже не буду жить, Сычов. Я хотел, чтобы вы все, чтобы все бойцы жили, чтобы люди одолели смерть.

Агеев повернулся лицом к молча смотревшим на него бойцам.

И тогда его предсмертный изнемогший дух снова возвысился в своей последней силе, чтобы и в гибели рассмотреть истину и существовать согласно с ней. У него явилось предчувствие, что мир обширнее и важнее, чем ему он казался дотоле, и что интерес или смысл человека заключается не в том лишь, чтобы обязательно быть живым. И в отречении своем от уходящей жизни, Агеев доверчиво закрыл глаза. Из-под века правого глаза у него вышла одна слеза и осохла, а на другую слезу у Агеева уже не было жизни.

Сычов склонился к голове командира и прислушался к его дыханию; затем он поднял свое лицо к бойцам и сказал им:

— Нету больше его.

И, обняв ноги покойного, Сычов заплакал, чтобы облегчить свое сердце. Он не знал, как ему быть теперь, и не мог стерпеть в себе грустной любви к умершему, которой он прежде не чувствовал или она была подавлена в нем обыденной привычкой к своей равнодушной жизни.

— Ничего, пускай он так, — сказал боец Морковников. — Это душа в старшине родилась.

Бойцы по очереди стали подползать к Агееву, и каждый человек поцеловал скончавшегося.

Сычов дал бойцам на прощание лишь малое время, а затем велел всем одуматься и приготовиться к сражению с окружающим Семидворье врагом.

— Ишь какие люди смерть за нас принимают, — сказал Сычов. — Пускай только сробеет теперь в бою какой недоделок!

Сычов оглядел всех своих живых бойцов. Красноармейцы были безмолвны. Они привыкли терпеть бой и могли стерпеть даже смерть, но сердце их не могло привыкнуть к разлуке с тем, что оно любило и что ушло от него безответно навеки.

1943

О СОВЕТСКОМ СОЛДАТЕ (ТРИ СОЛДАТА)

...Она (Красная Армия) приняла на свою грудь, на свое оружие, ураганное давление германской армии, затомила на себе силу немцев и затем перешла в сокрушающее, упорное наступление, уничтожая вросшую в землю оборону противника..

Россия обильна людьми, и не числом их, — потому что Китай или Индия еще многочисленнее и многосемейнее русского народа, — а разнохарактерностью и своеобразием каждого человека, особенностью его ума и сердца. Фома и Ерема, по сказке, братья, но вся их жизнь занята заботой, чтобы ни в чем не походить один на другого. Русский человек любит разнообразие: даже свои деревни он иногда сознательно строил непрочно и ненавечно, дабы не жалко их было переменить на другие, когда они погорят... Может быть, именно этим своеобразием национального характера объясняется такое странное и словно неразумное явление, как любовь нашего народа к пожарам, бурям, грозам, наводнениям, то есть к стихиям страшным, разрушительным и убыточным. Привлекающая тайна этих явлений для человека заключается в том, что после них он ждет для себя перемены жизни. Сюда же относится исторический процесс, в котором участвовала часть нашего народа, так называемое «землепроходство»: движение за Волгу, за Урал, через таежные дебри Сибири, — не движение, а проход с топором и огнем пожарища, не путешествие, а тяжкий вековой труд, — в сторону Дальнего Востока и

Великого океана. Это отнюдь не легче подвига Магеллана, но с тою разницей, что в «землепроходстве» участвовала не маленькая группа людей, а целый крестьянский «мир». Конечно, здесь руководил народом экономический интерес, но экономический интерес, разрешаемый такими средствами, предполагает и зарождает в народе психологическое соответствие его хозяйственной цели, — особый порядок чувств и свое представление о действительности.

Поэтому столь трудно по большому количеству работы бывает описать, создать в словах образ основного героя Отечественной войны, его «главного генерала», — образ советского солдата, если желать описать его истинно, точно, индивидуально, не сберегая своих сил в обобщении, ибо в обобщении всегда скрывается умерщвление образа живого, отдельного человека, родственного каждому существу во всем сонме человечества, но не подобного, не равного ни одному из них.

К войне, раз уж она случилась, русский человек относится не со страхом, а тоже со страстным чувством заинтересованности, стремясь обратить ее катастрофическую силу в творческую энергию для преобразования своей мучительной судьбы, как было в прошлую войну, или для сокрушения всемирно-исторического зла фашизма, как происходит дело в нынешнюю войну.

Даже наше мирное население в прифронтовой полосе скоро утрачивает всякий страх к войне и обживает ее. Летом нынешнего года часто можно было наблюдать, как старик крестьянин обкашивает траву на зимний корм корове вокруг подбитого «тигра», а его хозяйка вешает рядно для просушки на буксирный крюк «фердинанда». А другой дед, не стерпев своего сердца при виде осыпающегося хлеба, косит ржаную ниву, с которой еще не убраны мины, действуя спокойно и уверенно, как бессмертный. Так можно «обжить» войну, свыкнуться с нею, пережив на опыте, что гул артиллерии, близкие разрывы снарядов и вопли авиационных бомб — не всегда смерть, а чаще всего лишь устрашение; но непрерывно устрашаться нельзя, — надо жить, а живому надо кормиться и, следовательно, работать.

Изо всех этих свойств природы и характера русского человека, из особенностей его исторического развития рождается отношение к войне как к творческому труду, создающему судьбу народа. При этом человек не предается восторгу от труда войны, он терпит его лишь как необходимость, но и того бывает достаточно, чтобы испытывать постоянное спокойное счастье от сознания исполняемой необходимости.

Нам приходилось видеть красноармейцев и офицеров нашей армии, в которых это качество — творческое чувство войны — было основной сущностью их природы и воинского поведения. И по нашим наблюдениям это новое, великое свойство советского солдата и офицера все более распространяется в нашей армии, являя миру образ нового воина. В нем, в этом человеческом свойстве, и содержится конкретное объяснение стойкости наших солдат в обороне и их настойчивость и терпение в наступлении. Ничего не совершается без подготовленности в душе, особенно на войне. По этой внутренней подготовленности нашего воина к битвам можно судить и о силе его органической привязанности к родине и о его мировоззрении, образованном в нем историей его страны.

В августовское утро, когда солнце освещает землю словно через опустевший воздух и поля уже золотятся сединой осени, возле фронтовой дороги стоял красноармеец Минаков Иван Ефимович. Правая рука у него была раненая, он держал ее на перевязке. Он без просьбы посмотрел на обгонявшую его попутную машину, и мы пригласили его, чтобы подвезти до госпиталя.

Согнувшись, красноармеец пролез в машину и бросил на пол шинель и вещевой мешок, чтобы его вещи не стеснили офицера.

Красноармеец был молод, лет двадцати пяти — семи на вид, с обычным солдатским лицом, обдутым ветром, обмытым дождями и высушенным зноем, и с ясными глазами. Должно быть, крепкая душа была у этого бойца, если и ранение, и долгая тягость войны еще не истомили его.

— Вы который раз ранены — первый? — спросил я у красноармейца.

— Четвертый, — улыбнулся Минаков. — Два осколка от мины во мне живут: один в шее, другой в бедре... А сам я за войну пятерых уложил да подранил несколько... Это — ничего!

Он считал свои раны вполне оправданными и свое положение, по сравнению с неприятелем, выгодным.

— В эту руку уж второй раз попадают! — сказал Минаков.

— Срастется? — спросил я.

— Ну конечно, срастется! — убедительно произнес Минаков. — Место уже битое, оно привыкло заживать... Через месяц опять дома буду — в своей части.

— Когда же вы из боя вышли?

— Да нынче... Уж солнце встало, как мы населенный пункт взяли...

— Какие потери были в вашем подразделении?

— Потерь в людях не было, товарищ капитан... Один я подранен, да еще одного бойца оглушило. А немцев тоже там мало было, мы их хотели перебить, а потом взяли всех в плен живьем, — в языках нужда была.

— Что ж, у вас большой перевес был?

Минаков смутился и застеснялся чего-то.

— Да нет, одним сводным батальоном в атаку пошли... Воевали теперь с расчетом и умыслом, давно ведь уж воюем и делом интересоваться стали, да и к врагу привыкли...

Я понял солдатскую совесть Минакова: ему неудобно было сознаться, что его батальон истощился людьми — и пришлось брать деревню сводным батальоном, с бойцами, сведенными из других подразделений. В этом, однако, не было ничего, что бесчестило бы солдата, потому что та часть, в которой служил Минаков, с пятого июля, с первого часа немецкого наступления, была в боях без выхода. Она приняла на свою грудь, на свое оружие ураганное давление германской армии, измотала на себе силу и обескровила немцев и затем перешла в сокрушающее наступление, уничтожая вросшую в землю оборону противника.

И все же Минаков, видимо, стеснялся того, что его батальон был сводным, а не состоял, как прежде, сплошь из своих, привыкших друг к другу кадровых бойцов.

— Упираются немцы? — спросил я у Минакова.

— Сила у них есть...

— Что ж они не стоят?

— Веры у них не стало. А без веры солдат, как былинка, — он умереть еще может, а одолеть ему неприятеля уже трудно бывает... А что смерть без дела?

— Была же у них вера...

— Была, конечно. А теперь она об нас истерлась... Теперь томиться немцы стали.

Госпиталь помещался в разрушенном поселке. Минаков сказал, чтоб остановили машину, улыбнулся на прощанье и поблагодарил за доставку. А потом, чтоб не задерживать нас, быстро отворил дверцу здоровой рукой, выбросил на землю вещевой мешок, шинель и пошел выздоравливать.

Через несколько дней я посетил тот батальон, в котором служил Минаков. Батальон в то время был отведен на отдых во второй эшелон.

В этом батальоне среди прочих служили два человека: один был старослужащий, сорокалетний старший сержант Прохоров, в начале войны бывший рядовым, а другой был солдат Алеев, родом татарин, пришедший в армию полгода назад. В армии есть скучные, повторяющиеся, но необходимые дела — уход за оружием, содержание в порядке своей одежды и личных вещей, исполнение нарядов по охране и обслуживанию общевойскового добра и прочее. И сержант, и рядовой боец выполняли эту работу, однако, с удовольствием, с тихим рачительным усердием...

Я подумал, что они — люди обыденной мирной жизни и сражаются, должно быть, худо.

Это наблюдение и привлекло меня к ним. Рябой и сосредоточенный Прохоров, как я услышал, к тому же был и скупой человек, и скупость его имела уже как бы неразумное значе-

ние. Он мог, склонившись на дороге, поднять комок земли и кинуть его на поле, — чтоб и этот комок тоже мог рожать зерно, а не растапываться без пользы в прах ногами. Поверх головок своих сапог он обувал лапти, чтобы сапоги не снашивались столь скоро и народ как можно дольше не беднел от войны, обувая своих солдат в дорожную кожу. Позже я увидел, что ошибся, и понял, что скупость ко всем предметам, составляющим достояние родины, есть постоянное скромное выражение страстной любви к ней.

Аккуратно исполнительный, Алеев любил чистить и смазывать винтовки и автоматы, и он мог даже производить им небольшой полевой ремонт. До войны Алеев работал в машинно-тракторной мастерской по плужному делу и прицепному инвентарю.

Я спросил у Алеева, что его интересует в жизни.

— Хлебопашество, — сказал Алеев. — Я хлеб в поле любил.

— А война? На войне хлеб не сеют...

— Война против фашистов — такое же святое дело, как хлебопашество, — ответил Алеев. — Зачем будет хлеб, когда народ от немца помрет? Кто будет кушать?

Я не понял Алеева.

— На войне и погибают люди. Может, и ты и я погибнем...

— Может, — согласился Алеев. — Зато в тылу народ целым останется. Ты считай сам, я убью десять немцев, а они убили бы тысячу нашего народа, если б жить стали и по нашей земле пошли. Ты считай, сколько я людей уберегу! А сам помру — не жалко, от меня польза останется. Опять хлебопашество будет, народ рожаться будет, — лучше меня будут люди.

И с терпеливым усердием Алеев склонился над своей работой: он сейчас ремонтировал расстроенный, изработавшийся автомат, причем работал он с тем же удовольствием, с каким в былое время настраивал плужную систему для трактора.

Через два дня батальон, отдышавшись в ближнем тылу, был перемещен в первый эшелон и вступил в дело.

Прохоров, Алеев и младший лейтенант Сухих назначены были идти в ближнюю разведку. Им дали задачу — разведать дорогу в дебрях минных полей на подходах к укрепленному рубежу противника. Нужно было пройти небольшое расстояние, однако пройти его следовало ночью, на ощупь, пересчитав и высмотрев каждую былинку.

Но в ту же ночь немцы, предчувствуя наш удар, открыли огонь по нашей стороне, а затем пустили свои танки в атаку. Машины врага были встречены нашим пушечным и бронебойным огнем. Сухих, Прохоров и Алеев остались одни, как сироты, в промежуточном поле, накрываемом нашим огнем. Кроме отсветов от разрывов, поле осветилось ракетами, досланными сюда нашими войсками. Сухих, Прохоров и Алеев вжалась в землю, но это их положение было малополезным для боя и не обещало им самим надежного спасения. Алеев, полежав немного, сказал на ухо младшему лейтенанту Сухих:

— Так лежать — я буду изменник, давай воевать...

— Сейчас, — ответил Сухих; он следил, как, маневрируя среди собственного минного поля, проходят немецкие танки, и старался запомнить безопасные проходы.

Под светом ракеты Алеев ясно увидел заблестевшие взрыватели трех противотанковых мин.

— Прохоров, — сказал Алеев, — товарищ сержант... Бояться будем, умрем нехорошо...

Два танка с тяжелой стремительностью прошли мимо троих наших солдат.

— Нам чужого добра не жалко! — крикнул Прохоров.

Он подполз к одной мине и стал отрывать ее. Алеев догадался, в чем был смысл работы Прохорова, и подполз к соседней мине. Отрывши ее, он сказал Прохорову, чтобы сержант положил обе мины — свою и его — ему на спину, а он повезет, ползя на животе, куда нужно. Прохоров погрузил мины на Алеева и пополз с ним рядом, следя, чтобы груз лежал в покое...

С немецкого рубежа вышла новая группа танков; теперь уже оттуда шло много машин, и за ними должна быть пехота.

— Уходи! — сказал Алеев Прохорову. — А я мало побуду здесь.

Они выбрались на чистый проход, по которому до того прошли танки.

Алеев лежал ничком с минами на спине, задумав сгрузить с себя мины, когда первый же танк подойдет поближе и ясно станет его направление.

— Нет! — крикнул Прохоров. — Риск — не расчет! Ты нам тоже не дешевый — живи!.. Соображай за мной!

К ним подполз Сухих.

— Сгружайте мины здесь! — приказал офицер. — Потом — давай сразу в сторону!

Сгрузив мины на грунт, все трое отползли подальше.

Они увидели, как засветился во мгновенном взрыве немецкий танк и даже приподнялся немного над землей, точно хотел взлететь; затем добавочно сверкнул из отверстий корпуса внутренний взрыв, и весь танк изувечился.

Сухих вскочил и крикнул:

— Давай за мной вперед на врага!

Все трое залезли в развалину танка, где все-таки было безопасней, чем в чистом поле. Прохоров сейчас же озаботился, чтобы не было у них за броней ничего постороннего и ненужного: он высадил наружу через отверстие люка трупы танкистов, а затем хотел спустить от греха горячее из бака, но бак был уже сплюснен и пуст.

Освоившись и разобравшись немного в стальной теснине корпуса, сжатого увечьем, трое людей опять стали слышать битву.

Танки неприятеля прошли мимо них по полю, озаренному светом ракет, и за ними мчалась пехота, припадая к земле от света и разрывов и снова стремясь вперед.

— Ссечь их! — крикнул младший лейтенант Сухих и ударил из автомата по пехотинцам, бегущим вслед машинам.

Прохоров и Алеев также пустили в дело свои автоматы, и ближние немцы стали припадать к охлажденной земле, уже орошенной ночной росой.

— Живее бей! — ускорял огонь Сухих. — Спускай им душу в дырку через сердце.

Прохоров и Алеев, сосредоточившись в работе, чувствовали себя спокойно. Немцы, умирая возле своего мертвого танка, но успевали понять источника своей гибели.

Сухих стрелял непрерывно: он мало верил, что удастся дожить до рассвета, и не хотел, чтобы бесполезно остался при нем боезапас.

Постепенно бой ушел за танками в сторону, и тогда трое русских солдат опомнились и передохнули.

— Ничего, — сказал Сухих.

— Ничего, — согласились с ним Прохоров и Алеев.

На них тихо, без стрельбы, надвинулся из тьмы немецкий танк и остановился у буксирного крюка подбитой машины.

— За своим добром приехали, — сказал Прохоров. — Это правильно.

Крышка люка прибывшего танка открылась, и из машины вылезли два немца.

Алеев хотел посечь немцев огнем, но Сухих не велел ему.

— У них пушка в машине и пушкарь внутри сидит, — сказал офицер. — Нам толку не будет.

Сцепив танки тросами, немцы подобрали трупы своих танкистов и положили их на броню здорового танка-тягача. Потом они вернулись и полезли через люк внутрь увечной машины, по здесь они остались молчать замертво в руках советских солдат.

Сцепленный танк-тягач теперь стоял близко, и пушка его была не опасна на такой дистанции. Живые немцы в здоровом танке обождали немного своих товарищей, а затем потянули больной танк в свою сторону. Пройдя небольшое расстояние, танк-тягач остановился, потому что трупы свалились с его брони на землю. Теперь ракет уже давно не было в небе и было темно, но советские солдаты приноровились глазами ко мраку и чутко следили, что будет далее впереди них. Двое немцев показались сверху из тягача и прыгнули вниз. Они вновь

подняли своих мертвых с земли и положили их обратно на машину, — как было. Затем один из них, недовольно бормоча, пошел к больному танку.

— Кончай! — сказал Сухих; он сам дал краткую очередь, и враги пали мертвыми.

Прохоров и Алеев бросились к здоровому танку и забрались в него.

Но гром боя опять стал возвращаться сюда, на прежнее место. Наши части контратаковали неприятеля и повернули его обратно, откуда он вышел. Немецкая колонна танков шла теперь назад, расстроенная, словно щербатая: из нее выбили много машин, и они омертвели на поле сражения. Прохоров и Алеев, равно и Сухих, остерегаясь огня, остались сидеть за броней немецких танков, полагая, что красноармейцы разглядят, в чем тут дело, и не станут тратить прицельного огня по умолкшим машинам. Сухих сидел один с двумя мертвыми немцами, а Прохоров и Алеев были вдвоем в здоровой машине.

На рассвете в здоровый немецкий танк влез для проверки механизма советский танкист и, дав мотору обороты, повел всю сцепленную систему в русскую сторону.

На русской стороне мы вновь встретились с Прохоровым, Алеевым и офицером Сухих. Алеев явился в штаб части с ребенком на руках, цыганским мальчиком лет восьми на вид. А Прохоров тоже был не пустой: он принес мешочек семян многолетнего клевера.

Цыганского мальчика они обнаружили внутри немецкого танка. Напуганный ребенок не мог объяснить, зачем его взяли в машину, а немцы, что были с ним, все теперь умерли, и спросить было не у кого. Может быть, немцы возили ребенка с собой как амулет, как заклятие против своей смерти. А может быть, тут был расчет: дескать, когда погибнем мы, погибнешь и ты, маленький грустный звереныш, и нам легче оттого, что и тебя после нас не будет на свете. Для человека смерть красна на миру, потому что мир по нем тоскует; для немца смерть красна, когда и мир или хоть малая живая доля его погибает вместе с ним.

Прохоров нашел мешочек с семенами внутри танка, в вещевом ящике, и решил взять его на родину в хозяйство, потому что поля войны зарастают жестким бурьяном, с листьями, как железная стружка, несъедобными для скотины, а в мешке все же были семена сладкого клевера.

Сухих отобрал цыганского мальчика от Алеева к себе на руки, осмотрел и освидетельствовал подробно тело ребенка — все ли оно было цело и невредимо после сражения — и сказал красноармейцу:

— Это хороший мальчуган: он весь теплый и живой!

1944

ШТУРМ ЛАБИРИНТА

— Ты не спеши, Алексей Алексеевич, но побей их основательно, — сказал на прощанье генерал полковнику Бакланову. — Однако и не задерживайся здесь, а то мы далеко уйдем, не догонишь.

Генерал уехал вперед; полковник остался один возле своего блиндажа, устроенного в ягоднике, в окрестности старого немецкого городка. В этом городе остался немецкий гарнизон, снабженный мощными средствами огня и большим запасом продовольствия и боеприпасов. Немецкому гарнизону был дан приказ держаться здесь без срока, хоть до конца света, пока не прибудет к нему помощь. Полк Бакланова с приданным ему усилением — батальоном тяжелой штурмовой пехоты, батальоном резерва и артиллерией всех калибров, в том числе и самоходной, — оставлен был на месте, чтобы блокировать этот немецкий городок и взять его, тогда как наши главные силы ушли вперед преследовать противника.

Было раннее утро. Бакланов посмотрел в чужое пространство, на город, на дома, тесно уместенные на земле, поднимающиеся по холму к центральной площади; в центре города еще уцелели две готические башни и к ним была подвешена на траверзах электри-

ческая высоковольтная магистраль. «Вкуса у них нет, — подумал Бакланов, — и скучно нам здесь».

Тоска по родине мучила теперь Бакланова. Он любил русские избы, считая их самым лучшим, самым человечным архитектурным произведением; он любил плетни, полевые дороги во ржи, закаты солнца за далеким горизонтом в Орловской степи, он любил видеть женщин-крестьянок, стоящих за штурвалом комбайна, и ему нравился шум ветра в березовых рощах Подмосковья; он вспоминал теперь с грустной улыбкой и деловых сельских воробьев, и белых бабочек над желтыми цветами лишь потому, что все это существовало в России... Здесь, в Германии, был иным и вид природы, и унылый порядок жилищ, аккуратных до бездушности, и сама земля здесь пахла не теплом жизни, но какой-то химией мертвых веществ.

Полковник услышал, как в его блиндаже позвонил телефон, и ординарец Елисей Копцов сказал в трубку:

— Алло, Земля слушает.

Полковник пошел в блиндаж, там его ожидала работа; система укреплений противника в осажденном городе была ему неясна, о ней были известны лишь общие сведения по опыту истекших боев. Но Бакланов, как любой советский офицер, знал, что он имеет перед собой изобретательного, трудолюбивого противника, творящего в отчаянном сопротивлении разнообразные системы обороны, и без достаточного изучения и разведки укреплений врага нельзя штурмовать город, чтобы не проливать в слепоте напрасно крови своих войск.

Эта неизвестность общего инженерного и тактического принципа, по которому была построена вся система обороны немецкого города, тревожила Бакланова.

Артиллерийский начальник сообщил Бакланову, что он еще вчера вечером накрыл точным огнем шесть дотов в южной части города, помещавшихся в приспособленных зданиях, но утром артиллерийская разведка обнаружила, что три из разрушенных дотов снова ожили в руинах домов, а по соседству, в том же районе, возникли еще пять свежих дотов. Противник вел себя здесь, как сказочный многоглавый дракон: ему размозжили огнем шесть голов, а к утру у него отросло восемь. Это было неожиданно и смущало полковника Бакланова, и совесть его мучилась неведением, потому что всякое невежество постыдно.

Он ясно понимал, что вся тайна заключается в той инженерной идее, по которой была сооружена оборонительная система города, но идея-то эта ему была еще неизвестна; однако первоначально победа зарождается именно в истинной разведке тайны противника.

— Что есть четыре? — нараспев, но тихо спросил сам себя ординарец Копцов и ответил: — Четыре есть конечности у живого тела, четыре колеса у телеги спокон века, у круглого года времени четыре...

Алексей Алексеевич прислушался. В блиндаже за бревенчатой перегородкой жил ординарец полковника Елисей Копцов. Когда Елисей имел досуг, он обычно сидел неподвижно и тихим голосом протяжно напевал бесконечное песнопение, служившее ему источником самообразования, развитием ума и утешением. Это была мелодия, подобная звучащему сердцебиению. Алексей Алексеевич уже знал песнопение Елисея и сам иногда в скучные свободные минуты напевал его. Елисей был происхождением из Сибири, и он в свое время доложил полковнику, что песнь эту певали в старинное время в Сибири, а долговечность и прелесть ее состояли в том, что каждый человек мог ее петь по своему смыслу, глядя по душевной надобности, а старое значение песни забыто.

Теперь тоже Елисей успокаивающе произносил нараспев:

— Что есть два?

И сам отвечал себе:

— Два есть семья: боец Елисей да жена его Дарья, Дарья Матвеевна любезная моя.

Потом Елисей продолжал другие куплеты: что есть пять, что есть шесть и так далее — он мог доходить до любого числа, по порядку и враздробь. Алексей Алексеевич спокойно работал над картой под напев Елисея, словно под музыкальный аккомпанемент.

— Что есть один? — провозглашал Елисей. И держал ответ самому себе:

— Один есть я, боец Копцов, и солнце одно, и в полку один полковой командир.

— Что есть осьмнадцать? Восемь притоков текут в Ангару, десять притоков кормят потоки Шилки-реки. Вот что осьмнадцать — такое число.

— Елисей, а что есть сто? — спросил Алексей Алексеевич.

— Сто есть жизнь, век человека! — провозгласил Елисей. — Сто годов деда наши жили и нам завещали.

В прежний раз Елисей объяснял число «сто» как число роты: сто бойцов и сто человек душ едоков. Он никогда не повторялся и всякий раз определял образ одного и того же числа по-иному. В полку уже получила распространение эта песнь-паука под именем: «Слово Елисея».

Бойцы часто в разговоре вдруг спрашивали один другого: что есть тыща или сорок один и даже что есть полтора. Задача заключалась в быстром, правильном и складном ответе, а самый смысл ответа определялся по разуму и усмотрению того, кто отвечал.

Наша артиллерия сразу открыла огонь, сделав несколько залпов, и телефонный зуммер зазвонил на столе полковника.

Начальник артиллерии полковник Кузьмин сказал по проводу о причине огня:

— Я, Алексей Алексеевич, гащу помаленьку доты. Их теперь стало вдруг одиннадцать, а по-моему, их еще больше.

— Что это, Евтихий Павлович? — спросил Бакланов. — Строят они их, что ли, под твоим огнем?

— Построены-то они еще прежде, Алексей Алексеевич, — ответил артиллерист, — но не все еще жить пущены, многие нас молча ожидают. Да не в этом сомнение. Сомнение у меня, Алексей Алексеевич, в том: почему у них и мертвые потом живут. Я накрываю огнем их в прах, — и доты были и огневые точки, — а они ставят сызнова в развалины новые пушки и опять живут. Откуда у них питание туда идет, по какой трубе?

— Заходи, Евтихий Павлович, мы подумаем, — сказал Бакланов.

Действительно, каким способом немцы производили замену разбитых пушек новыми, питали их боеприпасами, комплектовали свежими расчетами, приспособливали под доты прочные здания или ставили огневые средства в руинах, — как это происходило, если наблюдение с земли и с воздуха не обнаруживало никакой деятельности и движения противника на поверхности?

Артиллерийский полковник Кузьмин, войдя в блиндаж, сразу спросил:

— Елисей, что есть сорок и что есть ничто?

— Сорок, товарищ гвардии полковник, есть сумма от сложения ручьев, протоков и речек, что перешел с боем, а также и спокойно, наш полк в прусской земле! — сообщил Елисей.

— Точно! — вспомнил полковник Бакланов.

— А ничто есть промежутое пространство меж нами и противником! Вот что ничто!

— В этом ничто вся сумма-то и содержится, где вычитают нашего брата-солдата, — улыбнулся полковник Кузьмин.

Полковники стали вдвоем рассматривать план старого немецкого города.

Артиллерист нанес на план отметки дотов и огневых точек по тем сведениям, какие у него были на последний час.

— Что толку, Евтихий Павлович? — сказал Бакланов. — Что толку в этих данных, если разбитый твоими пушками дот опять может жить или возникнуть как его подобие в соседнем здании, если мы даже не знаем, сколько же у него всего этих дотов или того, чем он их заменяет, и откуда он берет людей и технику и где у него находятся резервы? И потом — это не война: бить противника на ощупь, давать ему паузы для отдыха. Надо ударить раз, но наверняка и насмерть. А иначе — что толку?

Кузьмин задумался.

— Толку нет, и правда... У него, видишь ли, Алексей Алексеевич, есть бродячие доты за каменными стенами.

— Вот существо-то, черт его побрал! Это мусорный враг!

— Что же, рушить весь город? — произнес Бакланов. — Здесь нет пока такой необходимости. Это и для нашего огня накладно, это не бой, а невысказанно глупое дело.

— Дурость, конечно, — согласился артиллерист.

— Побольше ума, Евтихий Павлович, — и поменьше огня. А то мы, бывает, навалом норовим давить противника, чтоб думать не надо.

— То-то и дело, Алексей Алексеевич. Елисей, что есть девяносто один?

— Разрешите, товарищ гвардии полковник, ответить после взятия этого немецкого населенного пункта. Не положено отвлекаться мыслью от главной задачи.

— Молодец, Елисей! — сказал Бакланов. — Видишь, Евтихий Павлович, мы с тобой сейчас ошибаемся, что думаем одни. Умен, должно быть, не тот, кто надеется на одну свою голову. Вот когда в огне живешь, тогда думать за тебя некому, тогда ты уж обязан думать один, и один за всех... Елисей, сходи к начальнику штаба, он отдохнул теперь, пусть он сейчас же придет...

Когда пришел начальник штаба майор Годнев, Бакланов спросил, какие у него есть сведения об этом городе. Годнев доложил, что он уже беседовал с двумя инженер-майорами о характере сооружений в городе, показывал им план города и данные разведки. Инженеры ничего нового не открыли ему; они сказали, что этот город старой постройки, с большим запасом прочности в городских сооружениях, причем в окрестностях есть месторождения бутового камня, из которого, очевидно, и сложены фундаменты зданий.

— Это нам мало, — сказал Бакланов и стал размышлять: дивизия нам тут не поможет, армия тоже едва ли... Ну ладно, вы сейчас же, майор, запросите по радио шифром все данные об этом немецком городе — исторические и экономические. Пусть даст их нам немедленно штаб фронта — для оперативной надобности.

Майор ушел на связь исполнять поручение. Командир батальона, закрывавшего выходы из города на запад, донес Бакланову по телефону, что из города внезапно вырвались шесть средних танков, стремясь прорваться на запад; они сдерживаются противотанковой артиллерией и маневрируют сейчас на западной окрестности города. Кроме того, в тылу батальона, с северо-запада, появилась группа тяжелых танков, четыре машины, но пехоты за ними нет; эти машины стремятся, наоборот, в город; сейчас они находятся в лесной посадке и по ним также ведется огонь.

Бакланов сообщил Кузьмину обстановку и спросил его мнение: что это значит?

— А ничего особого, — сказал артиллерист. — Немцы же сволочи, и война идет, а в войне всегда хаос бывает. Если они танки из города выводят, значит, они не желают закапывать их в городе в оборону, значит, им пушки не нужны, у них, стало быть, есть их достаточно. А те четыре, что снаружи в город едут, те из какого-нибудь маленького блуждающего котелка выбрались, а теперь осиротели, отбились и хотели бы домой, ко двору, а у двора чужие части стоят... Пусти ты их свободно, Алексей Алексеевич, навстречу, а я самоходками их из засады накрою. Давай сообразим по карте, как это будет.

Они стали сообщать.

— Нельзя, — неуверенно сказал Бакланов. — Я боюсь считать врага глупым. А если это его хитрость, а ведь у меня там батальон? Давай твои самоходки на северо-запад, освободи меня от тяжелых машин.

Он взял трубку и приказал командиру западного батальона:

— Петр Иванович! Поддержи еще маленько их огнем. Против тяжелых сейчас тебе можем, против средних воюй сам и давай все время их координаты на КП артиллеристам — тебе видней. Как ты думаешь, что ты мне еще хочешь сказать?

— Ясно, товарищ полковник, — ответил командир западного. — Беспокойства большого нету. Я думаю управиться без потерь, у них машины идут не резво, веры у них нету, они пропадут...

Кузьмин ушел на свой командный пункт. Вскоре пришел начштаба Годнев.

— Есть новая разведка?

— Ничего нельзя сделать, Алексей Алексеевич. Люди ходили чуть не до центра города, проникали в дома, но дельного ничего не обнаружили и населения не видели.

— А ведь население есть, не могло оно целиком уйти отсюда.

— Не могло... Тот, что узнал кое-что, не пришел назад, — сказал Годнев. — Две группы разведчиков до сих пор не вернулись, одиннадцать человек.

— А что ты думаешь, майор?

— Трудно. Штурмовать втемную нельзя.

— Нельзя, — сказал полковник. — Этот город надо взять малым боем, но большой разведкой.

— Точно, товарищ полковник, — согласился майор.

— «Точно»! А что «точно»? Как мне надоело это слово! — рассердился Бакланов. — Все говорят «точно» и «точно» — как пластинки в патефоне. А что именно «точно», когда вы не можете предложить плана операции! Ну ладно, извините меня, я еще больше чувствую себя виноватым, чем вы.

Годнев молчал. Немного погодя позвонил Кузьмин.

— Алексеич! — сказал артиллерист. — Четыре тяжелых я изувечил, а средних пока не удается накрыть, они уходят обратно ко двору. Ну, как — хорошо, или ты недоволен?

— Что хорошего, когда плохо: шесть машин ведь уйдут, и нам еще придется с ними иметь дело! — ответил Бакланов. — Топчемся мы тут зря. Преследовать их! Преследовать их надо в упор огнем по пятам! Загнать их в трущобу, откуда они вышли! — Последние слова Бакланов произнес с тою сухою страстью, которая была свойственна его натуре; он знал, что, если мысль бывает временно бессильна, тогда полезно предаться действию, но никогда не быть в нерешительности, и действие всегда подскажет истину и даст решение.

— Есть, товарищ полковник! — ответил артиллерист. — Я сейчас попробую...

— Не пробовать надо, а делать быстро и надежно!.. Пустите им вослед четыре-пять самоходок, две-три установки пусть бьют с хода слепящим огнем по дотам с ближней дистанции, остальные преследуют танки до конца. Потом сразу мне сообщите результат... Ну все... Действуйте живым боем!

Вскоре прибыл ответ из штаба фронта. В сообщении подробно излагались все сведения об этом немецком городе: количество зданий, их стиль, время постройки, техническая характеристика сооружений, способ планировки, занятие жителей и многое другое. Бакланова более всего заинтересовали экономические сведения о районе, прилегающем к городу; это, оказывается, был старый район маслоделия и сыроварения, а город издавна обслуживал свой район как складское хозяйство и как центр оптовой торговли с потребительским западом Германии. В городе, особенно в средней его части, есть большое число зданий, говорилось в справке штаба, где подземная часть зданий относится по кубатуре к внешней, наземной, как 3 : 2, потому что в подземной части находятся помещения с постоянно пониженной температурой для хранения продовольственных товаров — сливочного масла и сыра, главным образом.

— Вот что мне нужно было! — обрадовался Бакланов.

Он вызвал начальника штаба, и вместе с ним они заново прочитали план города. Здания в центре города имели два, три, иногда четыре этажа; здания стояли близко одно к другому, их внешний объем поддавался довольно точному расчету; однако подвалы под ними не могли быть по глубине равными высоте зданий, и все же они были на $\frac{3}{2}$ больше объема наземных зданий, — следовательно, подземные помещения распространялись в ширину, но тогда они должны были занимать почти всю площадь в центральной части города.

Бакланов до войны был землеустроителем; он умело прикинул на счетной линейке кубатуру подземных помещений и нарисовал на плане города приблизительное очертание расположения подвалов — наименьшую площадь, которую они должны занимать.

— Ясно теперь? — спросил полковник у майора Годнева.

— Не совсем, Алексей Алексеевич.

— Ясно. Они соединили все подвалы города в один лабиринт промежуточными тоннелями, а кверху — почти в каждый монументальный дом — у них есть вертикальные шахты-выходы, по ним они и маневрируют: каждый дом может быть дотом и через полчаса им не быть. Вот в чем была загадка. В этом складском лабиринте под землей у них техника, боеприпасы, гарнизон, даже цивильные немцы, а наверху у них огневые расчеты и оперативные группы... Я думаю теперь, они туда даже танки свои закатывают...

Резкие близкие разрывы зашатали блиндаж, и две мыши появились на полу, словно ища защиты возле людей.

Ординарец Елисей подошел к полковнику и стал возле него.

— Ничего, — сказал Алексей Алексеевич, — мы им сделаем могилу в этом лабиринте.

Осыпанный землей, пришел полковник Кузьмин со своим ординарцем.

— Пугают нас, полковник! — сказал он. — Как решил действовать Алексей Алексеевич? Да ты хоть скажи поскорей, как будешь воевать: тебе голову оторвут, моя в запасе будет — и я буду знать.

И Кузьмин захохотал. Бакланов тоже засмеялся; он любил этого старого артиллериста за его характер истинного воина; он мог жить и думать под огнем спокойно и обыкновенно, лишь слегка более воодушевленно, потому что все близкие люди своей части тогда делаются особо дорогими для сердца.

— Сейчас мы им всем новую засечку сделаем, а потом я им дам жару, они у меня отсверкаются! Я их в мусор пущу! — погрозил Кузьмин.

— Не надо, это бессмысленно, береги лучше свои пушки для будущего дела, — сказал Бакланов. — Завтра мы через этот город вперед пойдем.

— Ну-ну, Алексей Алексеевич!..

Блиндаж заскрипел в древесных пазах от недалекого разрыва снаряда.

— Чего они щупают? — спросил Бакланов.

— А пускай выскажутся: мои ребята запишут их речь, а потом мы их по зубам.

— Я же говорю тебе, что не надо пока ничего, надо терпеть огонь молча. Любите вы палить, пушкари, прямо как дети — огонь зажигать!

— Ага. Ну — не надо. Разреши доложить, Алексей Алексеевич, о действиях моих самоходок.

Кузьмин взял карандаш и сделал на плане города две пометки:

— Вот здесь у них и вот тут, возле этой каланчи, есть въезды под землю, туда и ушли их танки, которых гнали мои ребята. Под каланчу ушли четыре танка, — артиллерист указал на одну готическую башню, что в центре города, — а сюда, вот у здешних амбаров, у этой архитектуры, — артиллерист уставил карандаш на здании в одном северном квартале, — сюда скрылись еще две машины.

— Не подбил ни одной? — спросил Бакланов.

— Нету, Алексей Алексеевич, не вышло. Впору было от их дотов на ходу обороняться. Тесно было от огня. Две мои машины не вернулись, а одна больная пришла.

Бакланов выслушал артиллериста и сказал ему:

— Скоро, сегодня же, ты опять пойдешь по этой дороге.

— Что? — спросил Кузьмин.

— Вот что, — произнес Бакланов и улыбнулся. Он уже знал судьбу событий вперед и был теперь счастливым от своей уверенности. — Вот, Евтихий Павлович!.. Давай с тобой так трудиться! Садись, сейчас сообразим, как мы будем...

И они стали соображать, как надо действовать, рисуя на картах.

Затем полковник Бакланов вызвал к себе командира штурмового батальона капитана Чернова. Он рассказал ему его боевую задачу и показал на плане города, как нужно ее исполнять. По этой задаче выходило, что бой должен быть краток, но жесток и страшен. Начальник штаба уже привык к таким решениям командира, но полковнику Кузьмину понравились тщательность, осторожность, колеблющаяся осмотрительность, с которыми Бакланов начинал планировать операцию, жесткость, уверенная смелость самого решения, не похожая на его подготовку.

«Головастый солдат», — подумал артиллерист.

Капитан Чернов молча слушал полковника. Он был молодой офицер, сердце его было чувствительно, но как солдат он восхищался яростью предстоящего штурма и, размечая свою карту, доверчиво смотрел на старшего офицера. Полковник поднялся и обнял Чернова, потом поцеловал его в уста. Чернов на мгновение прильнул в ответ к груди полковника — словно для того, чтобы взять от него добавочную силу и веру, которые ему потребуются в наступающем смертном труде.

После ухода капитана полковник вызвал к себе командира резервного батальона. Этому батальону была поставлена задача — усилить штурмовые группы Чернова.

Когда все ушли и полковник освободился, ординарец Елисей робко попросил у Алексея Алексеевича, чтобы он разрешил ему пойти в резервный батальон и повоевать немного в новом бою. Время от времени Елисей Копцов ходил в боевые операции, и Бакланов разрешал ему это делать, чтобы солдат освежался в сражениях. Елисей и сам любил ходить в бой: после того ему лучше было жить в полку и он чувствовал себя более нормально.

— Хорошо, Елисей, ступай подерись, — согласился Алексей Алексеевич, — а я завтра утром сам чай заваривать не буду, я тебя дождусь.

— Обождите меня, товарищ полковник. Я после боя враз явлюсь, как и всегда допрежде было.

Бакланов улыбнулся.

— Я обожду, Елисей. А ты скажи, что есть три?

— В каждой операции положено иметь три части, товарищ полковник: разведка, план и выполнение — вот что три!

— А что есть четыре?

— А четыре, когда все три части были правильны, а противник сделал свое противоречие, и нужно делать на четвертое поправку выполнения, — вот что четыре!

«Верно, — подумал полковник. — В поправке выполнения самое главное в бою и бывает».

— Ступай, Елисей, и поправь огнем, штыком и гранатой мою ошибку!..

Елисей вышел наружу и прислушался. Вдалеке, за городом, били пушки. По звуку можно было различить стрельбу противотанковой артиллерии и удары танковых пушек.

Командир запасного батальона сообщил Бакланову по телефону, что против его расположения снова появились танки, теперь их было уже восемь, и за ними шла пехота, числом до батальона.

Новая контратака немцев не могла быть предвидена, но и ее можно заставить служить главной задачей; контратака даже облегчала тактическое решение основной задачи.

Бакланов посмотрел на часы. Сейчас ровно восемнадцать. Немцы упреждали Бакланова всего на двадцать минут.

— Ну что ж, — решил полковник, — и мы поторопимся... Сдерживайте их пока своими средствами! — указал он командиру западного. Сейчас я вам помогу.

Над блиндажом просвистел снаряд и разорвался поодаль. Из города открыли огонь немецкие импровизированные доты. Немцы поддерживали из города свои контратакующие танки и вели еще редкий огонь по другим целям.

Бакланов спросил по телефону у Кузьмина:

— Сколько сейчас всего работает огневых точек у противника?

Артиллерист ответил, что — одиннадцать.

— А сколько из них старых точек, определенных прежде?

— Старых всего пять, — ответил Кузьмин.

— А как расположены новые точки?

— Тесно к старым, Алексей Алексеевич, и вперемежку с ними. Даю вам их, наносите.

Бакланов нанес на план города шесть новых огневых точек. Они все были в пределах тех зданий, которые получил Чернов при задаче. Всего таких зданий, сообщавшихся с подземным лабиринтом, было двадцать два. Это число установил Бакланов на основании данных артиллеристов, а также характера, зданий и их расположения.

— Начинаем, Евтихий Павлович, немедленно. Весь план упреждается на двадцать минут вперед.

— Законное дело! — обрадовался артиллерист.

Пришел майор Годнев. Бакланов дал ему поправку в первоначальный план и направил к полковнику Кузьмину.

Через несколько минут артиллерист позвонил Бакланову.

— Задача ясна, товарищ полковник. Красивое дело будет, все по закону получится.

— Давайте, Евтихий Павлович, давайте покрепче, погуще огня и побольше скорости самоходкам!..

Бакланов закрыл глаза, воображая то, что сейчас начнет происходить в натуре, в действительности, что он уже пережил незадолго в мысли и в чувстве, когда задумывал эту операцию.

Раздался знакомый голос своей артиллерии, столько раз уже слышанный, но каждый раз волнующий и влекущий, как новая музыка.

Все двадцать два здания, в которых могли существовать «бродячие» доты противника, были одновременно накрыты нашим огнем тяжелых калибров. Но по одному кварталу города в северной части велся редкий огонь из легких полевых калибров — там находился въезд в подземный лабиринт. Такой редкий огонь был назначен Баклановым. По сигналу ракетой командира самоходок этот огонь в определенный момент должен быть вовсе прекращен, — именно тогда, когда наши самоходки погонят назад танки противника, вышедшие против западного батальона.

Бакланов указал Кузьмину в поправке первоначального плана, чтобы Кузьмин выслал в распоряжение нашего западного батальона десять самоходок или сколько он может, но — побольше. Эти самоходные пушки должны отбить контратакующие танки противника и направиться в их преследование; пехотой же, следовавшей за танками, займется наш западный батальон на ее истребление. Танки противника, которые еще останутся на ходу, пойдут, наверное, в укрытие под землю, откуда они и вышли до того.

Однако въезд под землю возле готической башни накрыт нашим мощным огнем; другой въезд в лабиринт, что в северном квартале города, будет свободен от огня — туда и пойдут оставшиеся танки, желая себе спасения. Вслед за ними, хотя бы в упор, броня в броню, должны ворваться наши самоходки, они имеют задачу — прямо идти под землю, двигаясь вперед, пока работают гусеницы, и ведя огонь перед собой во тьму лабиринта. За самоходками, когда их движение в глубину лабиринта станет невозможным, проникнет далее рота из штурмового батальона Чернова. Штурмовые группы Чернова сойдут с брони, когда машины остановятся, и будут драться с противником в тесном, рукопашном бою, идя под землю все время вперед, к центральной части города, навстречу своим.

Пока Кузьмин ведет пушечный огонь наверху, остальные штурмовые группы Чернова и приданные ему подразделения из резервного батальона накапливаются к исходному рубежу, невдалеке от зоны «бродячих» дотов. После прекращения работы нашей артиллерии и

обмена ракетными сигналами эти штурмовые группы одновременно блокируют все двадцать два здания-дота, сообщающиеся с их общей подземной питательной системой — лабиринтом. Там, где еще уцелеют отдельные солдаты из огневых расчетов противника, они уничтожаются штурмовыми группами. Затем штурмовые группы проникают по вертикальным проходам под землю и ведут бой в лабиринте, двигаясь к северному выходу из-под земли, навстречу своим.

Бакланов, собственно, спроектировал бой на охват противника с флангов, — с той разницей, что вся операция происходит не на горизонтальной плоскости, а по вертикали. Одним флангом противника является северный выход лабиринта, а другим — двадцать два наземных здания. Полковник, однако, понимал, что его решение о бое «по вертикали» не исчерпывается геометрическими координатами, а меняет в его пользу самое существо операции.

Командир верил в точность своего замысла и в отважную душу своих бойцов, и все же он с трудом переживал сейчас волнение своего сердца.

И подлинно, верно ли то, что лабиринт имеет лишь два больших выхода — на севере города и у готической башни? А если таких выходов три или четыре?

Бакланова беспокоило это соображение, но он не боялся такой внезапности. Он понимал, что невозможно знать все с абсолютной достоверностью. Кто стремится лишь к абсолютному знанию, тот рискует ничего не узнать и обречен на бездействие.

Опасен был еще разрыв во времени: если проникновение в лабиринт с севера и через доты слишком не совпадает по сроку.

Много было опасного и неизвестного. Бакланов улыбнулся. «Вся война опасна», — подумал он.

Огонь утих. Пришел Годнев от Кузьмина.

— Пока все нормально, товарищ полковник. Семь танков противника подбиты, в лабиринт за одним танком противника вошли четыре наших самоходки, остальные где-то на подходе, но связи с ними пока нет.

— А сверху что, на дотах?

— Чернов прислал связного. Он говорит, что Кузьмин завалит ему своим огнем ходы под землю, и он боится, что его люди не проберутся туда.

— Проберутся, — сказал Бакланов.

Они помолчали. Снаружи была полная тишина. Бой ушел под землю.

По крайней мере, с северного конца наши штурмовые группы уже проникли в лабиринт и ударили врагу под сердце.

— Скоро Елисей должен вернуться, — произнес Бакланов. — С утра будем в дорогу собираться. Вперед поедет, майор.

— Поедем, товарищ полковник.

Зазвонил телефон. Кузьмин сказал в трубку:

— Ну как, Алексей Алексеевич?.. Тут твой Чернов с моим наблюдателем-лейтенантом связался. Он просил передать тебе, что у него только шесть дырок под землю осталось и его люди вошли туда, а остальные все дырки я завалил, проходу к немцам нету: законное дело получилось!

И артиллерист захохотал.

Кузьмин еще хотел что-то сказать, но связь с ним искусственно прервали. Командир западного батальона просил немедленно командира полка. Он доложил, что вблизи его боевого охранения из какого-то погреба, который находится в развалинах холодильника, выползают немцы и подымают руки; вышло уже и сдалось восемьдесят шесть человек, в их числе два капитана.

— Принимайте их, что же делать, — сказал Бакланов.

— Значит, у них там еще маленький выход был, — обратился полковник к Годневу. — Про него мы не знали. Мы их в бок, стало быть, выдавливаем из лабиринта.

В чистой тишине пространства они оба одновременно вдруг услышали далекий лай живой собаки.

— Значит, все, товарищ полковник, — произнес майор Годнев.

— Все, — подтвердил Бакланов. — Где же мой Елисей?

Майор ушел. Бакланов на минуту закрыл глаза и забылся во сне. В сновидении он увидел Елисея, вернувшегося из боя, черного от земли и утомления, непохожего на себя.

— Пришел, Елисей? — тихо, не слыша своего голоса, спросил полковник.

— Так точно, я — вот он, товарищ полковник, я есть один!

— А что есть один? Сложи, Елисей, вещи в дорогу, поедем вперед, дорога недалняя, скоро победа и дороге конец.

— Есть, товарищ полковник, вы поезжайте, а я после к вам приду.

— Нет, Елисей, ты со мной поедешь... Давай будем чай пить, сделай заварку погуще.

В России в деревнях теперь хозяйки проснулись и печи топить начинают, потом они коров пойдут доить, а на дворах там теперь уже воробьи, должно быть, появились, они на мужиков похожи, серые деловые разумные птицы... Эх, Елисей!.. Светает уже!

— Нет, темно еще, товарищ полковник, — тихо произнес Елисей.

Он прислонился спиной к бревенчатой стене, слушая полковника, задремал и уснул, неподвижно оставшись на месте.

Полковник велел ему проснуться, чтобы он лег как следует и отдохнул. Елисей не ответил и не послушался. Бакланову очень хотелось, чтобы Елисей проснулся, он желал спросить у ординарца, как было дело в лабиринте, потому что переживание боя есть великое дело; Бакланов понимал решающую жесткость солдатского штыка, и он мог чувствовать биение человеческого сердца солдата, идущего в атаку, во тьму, и вот теперь это знающее сердце, только что испытывшее бой, было так близко от него, но безмолвно.

Бакланов крикнул Елисею, чтобы тот проснулся, и сам проснулся.

В блиндаже никого не было. Елисей не присутствовал. Он не вернулся из лабиринта и никогда уже не вернется.

1945

ОФИЦЕР И СОЛДАТ

1

Гордей Силин, донской казак 1895 года рождения, разговаривал со своим другом, Никифором Поливановым, убитым немцами в 1916 году. Гордей Силин держал перед собой на столе поеденную временем, смутную фотографию покойного и глядел на лицо, от которого не могло отвыкнуть его сердце.

— Где ты жить тогда будешь, Никифор, если меня убьют и пропадет моя душа? — спрашивал Силин. — Весь твой покой в моей памяти был: ведь нету у тебя давно, Никифор, никого на свете — ни жены, ни родителей, ни прочего человека, один я при тебе состою... А может, я и целым еще останусь! — тогда и тебе лучше будет... Да надо бы пожить еще, я уж привык жить, и отвыкать надобности нету!..

Гордей Сплин прочитал затем письмо Поливанова к нему от июня месяца 1916 года, хотя уже давно знал на память, как в нем написаны все буквы. «Кланяюсь тебе, Гордей Иванов Силин, и супруге твоей Евдокии Филипповне с моим почтением... Бои наши были плохие, и потери в людях были вредные, солдаты умирали на поле как сироты. Командир подпоручик Завьялов не знал в нас души, а знал одну молодцеватость и чтобы был порядок по форме-уставу. Порядок в войске необходимо нужное дело, солдат сам знает про то, и ему легче жить в порядке, и в порядке потери от смерти будет меньше. А того он, подпоручик, не знает, что и в

устав, в дисциплину войска нужна добавка солдатской души, а то нечем будет жить войску и без своей мысли солдат неприятеля не одолеет. Умные люди говорят, после войны братство должно наступить, а дурные думают — не братство, а молодцеватость. Но солдат стал скучный, он живет сиротой, нету у него семьи при себе и нету того, кто стал бы вместо них на время, чтоб сердце наше могло кормиться при нем и не было постылым. Тогда и мы молодцами будем. А то ляжет на душу темная наволочь, и станет нам всё одинаково и ни к чему не нужно. Пока прощай, Гордей Иваныч Силин».

— Пока прощай, говоришь, Никифор Поликарпыч? — осудительно сказал Силин. — А вышло, что навек ты со мной попрощался... Покойся, казак!..

— Силин! Ты тут? — произнес голос за дверью избы, и в помещение вошел старшина Череватых. — Давай собираться, мы выступаем — приказ по полку! Кличь расчет своего орудия! Смотри не позабудь чего, ты старослужащий казак!

— Еще чего! — обиделся Силин. — Я и что не нужно, и то беру с собой: не в гости, а биться идем.

— Ненужное брать не надо.

— И ненужное бывает надобно, — едешь с пушкой — береги и кулак...

2

Капитан Артемов, командир той батареи, в которой служил Силин, устроил свои 76-миллиметровые пушки на позиции и занял свое место у телефона на наблюдательном пункте, в старой земляной щели. Лошадей с передками орудий Артемов велел ездовым отвести в руины ближнего хутора, а пушки приказал расчетам замаскировать сетями и травой.

Была поздняя осень; день умирал быстро, и ночь наступала долгая, как смерть. Часть расположилась на исходе, но сигнала к бою еще не было. Неприятель молча таился невдалеке, укрывшись в земляных гнездах на нерушимо ровной приазовской степи. Артемов позвонил полковнику Пустовалову и доложил ему о своей готовности к ведению огня и к предначертанному оперативным планом сопровождению атакующей пехоты.

— Как у тебя люди? — спросил полковник.

— Люди исправны, товарищ полковник.

— Они неделю отдыхали — чего им быть неисправными? — сказал полковник Пустовалов. — Каждый, через одного, уже пепежевку поспел себе завести на селе, я знаю... Я не о том тебя спрашиваю, капитан. Я спрашиваю тебя — ведь ты знаешь оперативную задачу, — удержат ли они танки, сколько бы их ни было, стволами своих пушек, чтоб потом вперед идти... Как у них сердце лежит?

Артемов подумал:

— Сердце в расчетах хорошее, товарищ полковник.

— А ты знаешь точно?

— Точно, товарищ полковник. У наших казаков отцы-предки хорошие были и в сынов своих доброе сердце положили. На том мы и стоим, а то бы хуже было.

Полковник невнятно пробормотал какое-то свое недовольство, — что, дескать, все равно бы плохо нам не было, — потом явственно сказал:

— А ты, капитан, вот что! Ты приумножь-ка это доброе сокровище отцов в наших боях, раз ты его понимаешь правильно. Дурни мы будем, если отцовское наследство, сердечную свою натуру, расточим...

— Не расточим, товарищ полковник... Казак-боец не даст расточить, он даром не умрет, отец не напрасно его на свет родил... Бойцы это понимают! Напрасная смерть оскорбляет отцов...

— А не напрасная?

— Не напрасная? Не напрасная смерть соединяет детей с отцами и освящает их память...

— Ишь ты какой! — сказал полковник. — Ты кое-что понимаешь, капитан. Ну, действуй, а я буду всегда при тебе на помощь!

Артемов вышел обратно к батарее. Уже ночь приникала к земле. Со стороны Азовского моря дул и напевал в пустоте, словно разговаривая сам с собой, морской теплый ветер. Отсюда уж недалек был Крым, здесь уже слышно было дыхание «земли полуденной», за которой открывалось великое, влекущее пространство южного мира.

За тысячу верст отсюда был дом и семейство капитана Артемova. Два года он прожил на войне и отвык от дома. Словно о далекой старине он вспоминал о своей прежней жизни в мирное время, о жене, о троих детях, растущих без него, о вечерах при лампе за чтением книги и размышлением о будущем, которое казалось тогда непрерывно возгорающим светом, освещающим весь мир; жена и дети уже спали по обыкновению, безвестная бабочка, влетевшая в горницу еще днем, беззвучно летала вокруг огня, кроткая жительница тихого ночного мира; где она теперь, где лежит в земле ее легкий смертный прах, подобный чистому духу?.. Все это давно миновало, и лишь тихой тоской изредка осеняет сердце человека.

Над горизонтом поднялась бледная луна, почти невидимая от немого зарева дальних пожаров, словно безмолвный печальный образ в память всех мертвых, и пушки Артемova обозначились на земле длинными тенями. Артемов обошел батарею и велел своим людям вкапывать пушки в землю. Бойцы недовольно взялись за лопаты. Капитан постоял и последил, чтобы люди это делали как следует, хотя, быть может, здесь придется пробыть всего полчаса. Он приказывал своим людям постоянно исполнять нерушимое правило — «остановился на день, вкапывайся навек» — и не жалел человеческих сил, хотя бы солдаты целые сутки до того не выходили из боя. Солдаты обыкновенно роптали: «Зачем теперь нам землю копать, когда хорониться в нее некогда — мы вперед идем, и так пол-России взрыли, изувечили, пахать негде будет!» Но капитан Артемов, чувствуя солдатское бормотание, повторно приказывал: «Вкапывайся! Береги орудие и самого себя! По рытой земле целым домой вернешься!» И тогда солдаты понимали его: «Да оно верно, уморишься — проспишься, а умрешь — потом не отдохнешь. Кровь всегда гуще пота!»

Артемов понимал землю как оружие — и для обороны и для наступления. В каждой местности есть свое своеобразие и своя тайна, и тот офицер, который способен прочесть тайну местности, где ему предстоит действовать, тот выгоднее, скорее и проще решит свою тактическую задачу, потому что бой есть не только стрельба и атака в штыки, он всегда есть движение на местности, и поэтому точное знание местности и расчетливое движение по ней решает бой наравне с огнем и умелостью солдата. Артемов мог теперь часами вчитываться в карту, испытывая при этом то счастливое возбуждение мысли, которое он чувствовал прежде лишь при чтении глубоких художественных книг, когда тайна жизни с легкостью наслаждения открывалась перед ним.

Артемов недавно прочитал в газете, что война есть исступление, и улыбнулся над ошибочностью этой мысли. Он знал, что война, как и мир, одухотворяется счастьем и в ней есть радость, и он сам испытывал радость войны, счастье уничтожения зла, и еще испытает их, и ради того он живет на войне и другие люди живут. Еще недавно он зашел после боя в два дома на окраине Мелитополя, разбитых его орудиями, и он увидел там мертвых немцев, прижавшихся перед гибелью друг к другу в последнем отчаянии, перед тем как их накрыл смертный огонь. Артемов вздрогнул тогда от восторга; он увидел глазами и узнал на ощупь свое великое творение: убийство зла вместе с его источником — телом врага. И ему не жалко было тогда разбитых в прах домов, а по руинам улицы он прошел как по аллее созидания — в трупах противника там лежало поверженное, мертвое злодейство земли; и что может быть в мире совершеннее и плодотворнее этого солдатского дела, умерщвляющего зло, дабы добро и труд снова возникли на земле и жаворонок над хлебным полем не падал бы с умолкнувшей песней, удрученной взрывной волной... Артемов скучал по семье и ожидал окончания войны, как всякий человек. Но свое счастье и высшую жизнь он постиг здесь, на войне; после войны уже будет что-то другое, может быть — хорошее и тихое, как вечерняя песня, но время его счастливого

труда, время одухотворенной радости, когда в мгновениях боя освобождается от злодейства вся земля, — это время тогда минует, и разум тогда будет жить воспоминанием, а сердце сожалением, успокаиваемым лишь гордостью и сознанием своей чести старого солдата...

— Товарищ капитан, разрешите спросить, — обратился Гордей Силин, соскребывая лопатой тучную, липкую землю с подошвы сапога. — Отчего немцы на воздух слабы стали, — должно, горючих запасов у них теперь нехватка...

«Не хочет солдат землю копать», — подумал капитан Артемов.

— Перекури! — сказал Артемов всему расчету Силина и сам сел среди бойцов на выбросе грунта.

— Уж далече мы теперь от родины, от Дона, отошли! — проговорил, отдыхая, Силин.

— Родина еще и впереди нас, — сказал Артемов. — Она не в одном твоём курене живёт...

— Всю-то её враз не оглядишь, не опознаешь, — тихо высказался заряжающий Игнатий Миронов.

— Кто её знает! — произнес Силин. — А то и враз её, всю русскую землю, вдруг оглядишь и узнаешь, и станет она возле тебя всего в одном человеке!.. Ты к своей земле привык, ты думал, что любишь её, а глядь — она тебя, солдата, любит ещё больше, и тогда тебе бой в охоту и смерть в счастье. Это желанное дело...

— Командира к телефону! — крикнул телефонист.

3

Полковник сообщил Артемову, что немцы, по вероятным сведениям, атакуют нас танками и пехотой. Их нужно принять на огонь батареи и с ходу, с раскачки перейти в контратаку и в наступление, вырываясь на колесах даже вперед цепей нашей пехоты, если будет в том усмотрение и надобность.

В полночь немцы взревели дальнобойными пушками и пустили танки в наше расположение. Телефонист Перегудов быстро работал возле Артемова, передавая на батарею данные для стрельбы, получаемые от вычислителей. Танки гудели вдалеке по степи, но мрак ночи отягощал борьбу с ними, а сведения корректировщиков не давали уверенности в положительности работы огня. К тому же вблизи батареи Артемова, около крайнего левого орудия, начали разрываться осколочные снаряды. Возможно, что немцы уже определили батарею Артемова.

Капитан осветил фонариком карту и в волнении вник в черты местности, где сейчас происходил бой. Слева, в полкилометре отсюда, был подлесок или молодой фруктовый сад; туда всего выгоднее было бы переместить батарею, потому что подлесок все же есть естественное укрытие и маскировка. Правее и вперед находились немецкие земляные гнезда для установки орудий; их немцы оставили позавчера, и они уже были нанесены на карту карандашом; немцы, конечно, хорошо знают про эти земляные ячейки и в любой момент могут пристрелять их точным огнем; стало быть, немцы должны сообразить, что русские на их оставленные артиллерийские позиции не пойдут, а пойдут в тот подлесок слева, потому что другой позиции тут выбрать негде: тут всюду ровная пустошь.

Артемов приказал вручную перекачать орудия на старонемецкие артиллерийские позиции; он решил там выждать танки и расстрелять их в упор на видимость, а затем сразу двинуться вперед. Но впереди, в двух километрах, была небольшая река Сливянка, а на том ее берегу — населенный пункт, совхоз с каменными постройками.

Артемов с телефонистом Перегудовым перешли на новый командный пункт, и капитан приказал своим пушкам до времени молчать. Немецкие батареи, обеспечивавшие наступление, распахивали землю огнем впереди своих идущих вперед танков, но одновременно они вели огонь и в глубь нашего расположения; подлесок, в котором были сейчас лишь короеды да

осенние птицы, истлевал в огне, прежняя позиция артемовской батареи также была накрыта артиллерией противника.

Разрывы снарядов, опережающих танки, засвечивали немецкие машины во тьме, и поэтому можно было уже вычислить данные для прицельного огня. Командир стрелкового подразделения, вышедший на правом фланге к берегу Сливянки, попросил у Артемова, чтобы он подавил две пулеметные точки врага в совхозе. Пехота, залегшая впереди Артемова, не могла вступить в дело с пехотой противника и вживалась в землю, чтобы стерпеть без гибели накрывающий ее огневой вал.

Артемов, чувствуя, что он один сейчас способен и должен остановить и сокрушить на месте стальной, рвущий землю огнем, почти вонзающийся в его грудь поток врага, в яростной радости, подавляющей страх, командовал Перегудову, и тот повторял его слова в микрофон, на батарею.

Первый танк взорвался, и его разверзло пламя, осветившее местность, по которой подходили еще четыре танка.

— Выстрел Силина был, товарищ капитан, — сказал Перегудов.

— Верно, это сработало его второе орудие, — подтвердил Артемов.

Еще два танка противника были остановлены скорым прямоточным огнем батареи Артемова, бившей по его приказу залпами, и затем добиты, повторно расстреляны на месте, как неподвижные цели; один танк ушел на правый фланг, а упреждавший, сопровождавший танки огонь артиллерии стал клевать землю неприцельно; тогда Артемов скомандовал, чтоб расчеты отдали пушки на передки и следовали на тяге вперед, под охраной своих ручных пулеметов, до реки Сливянки.

4

На берегу Сливянки капитан Артемов узнал, что такое долгая смерть, и стерпел ее, пока она длилась. «Что же такое человек? — думал он позже с удивлением и удовлетворением. — Всё, что было, что пережито, что мы знали как трудное дело, — было легко, и то было мало-важным, то было только началом и даже слабостью человека, — мы тогда еще не испытали всего веса зла на человеческую грудь, мы не чувствовали как следует врага. Лишь теперь я знаю кое-что, как надо драться».

Едва достигнув берега Сливянки, Артемов приказал вырыть, вработать немедленно свои пушки в землю, в старые траншеи врага, в его обваленную линию обороны; более всего он желал неприкосновенно сберечь расчеты людей и пушечные системы. Во тьме, во вспышках стрельбы, он различил и сосчитал противника, низринувшегося с высокого правобережья Сливянки на мякоть нашей пехоты, переходившей реку вброд. Двенадцать танков спускались оттуда, из населенного пункта, стреляя с ходу. Наша пехота, устремившаяся поперек потока двумя струями, несла потери, — люди оставались в реке, смешивая с ней кровь, отдавая тепло своей жизни ноябрьской воде. Артемов понял общее положение; он велел открыть всю мощь огня батареи по танкам, чтобы всех их привлечь на себя, на свои четыре пушки, и облегчить пехоте ее штурмовую работу. Стрелковому командиру он посоветовал по телефону изменить его тактику согласно обстановке. Капитан Артемов полагал, что выгоднее и успешнее будет форсировать речку не узкими колоннами подразделений, сосредоточенными в затылок друг другу, — нужно освоить реку вдоль ее потока, на долгом протяжении: пусть бойцы действуют рассредоточеннее, поодиночке, вплавь и вброд, они рассеют тогда внимание противника, и огонь его станет малодейственным...

Далее Артемов не мог уже следить за общим боем. Он сполз в глубокую траншею, где сидел его телефонист Перегудов, и озаботился увеличением скорострельности огня своих пушек.

Танки ревели уже в речном потоке и шли в упор на батарею. Артемов обрадовался, что сумел навлечь на себя все машины врага и тем облегчить действия общевойскового командо-

вания на других участках. Наблюдатель сообщил капитану, что пять танков подбиты и остановились в речном русле, но второе орудие батареи повреждено и замерло в бездействии.

Этим орудием командовал Гордей Силин. Старый солдат обиделся на такое неправильное дело, причиненное ему; он взял лом из пушечного инвентаря и, выгадав танк, шедший давить насмерть его орудие, взобрался на чужую машину и ударил ломом по горячему стволу пулемета в момент его стрельбы; пулемет рванул огнем внутрь машины, и там раздался крик врага; Силин прыгнул с танка и пополз к работавшей, здоровой пушке старшины Череватых.

Наблюдатель сообщил капитану Артемову, что всего подбито семь танков, остальные же машины, числом пять единиц, достигли расположения батареи и дают пушки гусеницами; сейчас осталась в живых лишь одна пушка Череватых, но огонь из нее ведет Гордей Силин, потому что старшина Череватых убит.

Тяжкое, дышащее жаром туловище танка перекрыло поверху траншею, где находились Артемов и Перегудов, и стало неподвижно, сотрясаясь от гулких, вскрикивающих огнем ударов по броне и проседая вниз, засыпая землей на погребение таящихся под ним двоих людей. По танку гвоздил из пушки Силин осколочными, не имея, видимо, других снарядов.

Связь еще действовала. Артемов вызвал к аппарату полковника и доложил обстановку.

— Помощи просишь, капитан? — спросил полковник.

— Нет, — сказал Артемов. — Мы почти справились с противником... Дайте на этот участок немного ПТР!

— Откуда ты говоришь?

— Со своего пункта, товарищ полковник... Над нами висит машина... Она пойдет сейчас на Силина, на мою последнюю пушку...

— Что ты кряхтишь?

— Земля валится, трудно стало. У них здесь пять машин...

— ПТР дать не могу, капитан. К совхозу на подходе с запада находятся еще пятнадцать танков, шесть тяжелых. Там ПТР нужнее...

— У меня одна пушка еще действует, товарищ полковник!

— Пушку береги, капитан, а врага растрчивай!.. Держись, Иван Семенович, а я тебе не забуду помочь! Мы ведь с тобой офицеры, и при нас жить злу на земле не положено...

Танк сполз с траншеи Артемова и ушел. Но другая машина появилась на фланге и пошла вдоль траншеи, обваливая ее откосы, временами приостанавливая свой поступательный ход и вращаясь на месте, чтобы смолоть до костей нашу живую силу. Пушка Силина била осколочными по пехоте врага, и наши солдаты дрались врукопашную в ледяной воде Сливянки.

Волшебный свет выстрелов и ракет вспыхивал и сиял в темном ночном мире, прерываясь слепящим мраком, и мертвыми, унылыми голосами кричали пушки, словно труженик человек воскресил здесь к жизни и движению подземные камни и небесные черные воды; но недра земли и черные воды, оживши, стали еще более мертвы, чем прежде, и ужаснули человека своим бешенством, своей ложной и страшной жизнью, заменившей им кроткую дремоту в вечности. И в этом свирепом беспорядочном смятении лишь одно было неподвижно и верно и давало смысл всему видимому ужасу — действующее сердце нашего солдата, умерщвляющего близкое, в упор надвинувшееся живое злодейство. Вкруг него, близ нашего солдата, бой превращался из ужаса в житейскую необходимость.

Танк снова покрыл траншею над головою Артемова и Перегудова и начал вращаться, медленно опускаясь книзу и стреляя из пушки в русскую сторону, содрогаясь корпусом при отдаче орудия. Артемов и Перегудов лежали ниц в обваливающемся на них прахе земли. Артемов кричал в телефон, задыхаясь в мелком крошечке грунта.

— Силин! Силин, нас давит машина, дай по ней...

— Есть! — отвечал издали Силин, и Артемов расслышал, как зазвенела броня танка над ним от удара снаряда.

Но душная, тяжелая смерть уже прессовала над ним грунт и долгая, медленная гибель томила сердце, обреченное на вечное заключение в тесной могиле.

Артемов приказал Силину забыть о нем и вести огонь по пехоте, а сам привлек голову Перегудова к себе, чтоб он не тосковал один.

— Ползи! — приказал Артемов.

Перегудов попробовал двигаться ползком вдоль траншеи, но земля валилась на него из под мелющих грунт гусениц танка, и двигаться было так же трудно, как подняться из могилы навстречу работающим лопатами гробовщикам.

5

— А все равно умирать нельзя, и из могилы надо драться! — решил Артемов; он был согласен вечно держать на своей груди черную тяжесть смерти и злодейства, если бы только мог привлечь к своему телу все железное зло мира и неразлучно томить его на себе; в этом было бы его удовлетворение и призвание красноармейского офицера.

— Силин! — прокричал он в телефон.

Броня танка зазвенела и сверкнула огнем над ним, и одна гусеница машины на весу прошла над головами Артемова и Перегудова. Теперь в небе над траншеей стала видна высокая грустная звезда.

— Силин! — крикнул в микрофон капитан. — Ты держись там?

— Держусь, товарищ капитан! — ответил Силин. — Сберегите мою карточку, меня фотограф из газеты снимал, обещал прислать, а все не присылает. Теперь скоро, наверно, уж придет.

— Я сберегу ее, — пообещал Артемов и решил застрелить этого фотокорреспондента из газеты, который снимает всех, как героев, аппаратом с пустой кассетой и всем обещает прислать вскоре фотографии; у солдата большая чувствительность доверчивой души, и его нельзя обманывать.

— «Тигры» на подходе к реке! — доложил Перегудов капитану. — Четыре машины! И на флангах по пяти машин среднего веса!

— Оставайся здесь один! — приказал Артемов. — Я пойду к Силину.

У Силина, кроме него самого, при пушке был один казак Миронов; уцелевшие артиллеристы из других расчетов заняты были на оттяжке поврежденных орудий в тыловое расположение и на подноске снарядов с околицы хутора.

— Все ничего, товарищ капитан, — сказал Силин, — калибр у нас слаб на такие машины.

— Ничего, Силин, — произнес Артемов. — Я по-хозяйски с ними справлюсь. Гранаты и противотанковые мины у нас есть?

— А то как же! Имеются.

— Ты хлопочи здесь, у пушки, только зря не пали, давай огонь не в лоб, а по нежному месту, а я пойду, как они покажутся. Давай, я буду снаряжаться...

Силин не все понял.

— Так как же это будет, товарищ капитан?

Артемов улыбнулся.

— А я к танку прямо под вздох подберусь и выпущу из машины последнее дыхание.

Силин помолчал, но потом обиделся:

— А я что же, товарищ капитан... Я солдат, я к смерти давно привык, почему же меня не посылаете на дело? Чего я тут пустым огнем греметь буду?

— Тебя я хочу сберечь, Гордей Иванович, — ответил Артемов. — Отца-матери и семьи при тебе нету, кто о тебе позаботится, кроме меня?

Силин отступил на шаг и вытянулся перед командиром.

— Так не бывает, товарищ капитан. Это не по службе-уставу: вам не положено идти на смерть вместо своего солдата!

— На поле боя я для тебя весь устав, — сказал Артемов. — Родиной мне положено любить и беречь своего солдата... Поцелуй меня на прощанье, Гордей Иванович...

Гордей Силин опустился на колени и припал лицом к земле. Прежде он думал, что родина велика и не помнит про него, одного своего солдата, а она, родина, вся может собраться в одного человека — офицера, и она любит его, должно быть, больше, чем он ее.

С ближних тыловых позиций ударили пушки дивизионной артиллерии. Они били по правому берегу реки, где появились свежие немецкие танки.

Силин поднял лицо от земли и задумался.

— Великое дело! — прошептал он, слушая залпы батарей. — Ишь ты как наша Россия огнем говорит... Теперь и капитану не к чему на танки ходить врукопашную...

Телефонист Перегудов появился возле командира.

— Приказано, товарищ капитан, всем штурмовым подразделениям пехоты и всем ее сопровождающим идти вперед, как только эти танки будут остановлены дивизионным огнем!

Артемов приказал поставить орудие на ходовой передок, а всем свободным людям батареи следовать с ручными пулеметами и автоматами. Затем он посмотрел на небо, чтобы сообразить по звездам — скоро ли будет рассвет. По звездам выходило, что утро будет скоро, но в позднюю осень и по утрам бывает еще долгая тьма, и дети, проснувшись, плачут в деревнях по свету.

«ЧЕЛЮСТЬ ДРАКОНА» (ОДИН БОЙ)

...Тихая ночь войны, проникнутая
взорами тысяч бодрствующих людей,
медленно лилась по земле...

Четвертая контратака немцев была отбита. Полк Мещерина продвинулся в заданном направлении, и его батальоны заняли новые рубежи. Огонь умолк на поле боя, и наступили сумерки перед долгой зимней ночью. Подполковник Мещерин успел осмотреть местность, что лежала теперь впереди расположения его батальона, и сверить ее с картой; карта, видимо, была точна.

Перед Мещериным по фронту находилась балка с мягким рельефом. В этой балке лежали последовательно один за другим рыбные пруды, но между верховьем одного пруда и плотной другого, расположенного выше, были, однако, сухие пространства. Противник сейчас был отогнан по ту сторону балки; там у него, против левого фланга полка, находилась развитая система огневых точек, и далее за ними были два населенных пункта, которые к утру Мещерину надлежало взять. Против правого фланга полка рос густой сосновый бор, спускавшийся в сухой тальвег балки меж двумя водоемами.

Что было сейчас в том немецком лесу? Лицом к этому лесу стоял третий батальон Мещерина, утомленный встречными боями с контратакующим противником. Этот батальон подбил сегодня три танка и истребил в двух рукопашных боях около роты фашистских пехотинцев, но люди Мещерина утомились, и не каждый из них, кто еще утром был жив и здоров, теперь дышал.

Стало темно, наступила ночь. Мещерин прошел по ходу сообщения в блиндаж, оставшийся от немцев, ординарец Порошков засветил ему свечи на деревянном столе. Подполковник задумался. Война переменялась. Сейчас она происходила на прусской земле. Теперь бой и маневр совершаются на местности плотной обороны противника, и так называемый «оперативный простор» требует такой же неослабной энергии от наступающих, как и прорыв передней полосы укреплений, потому что «простор» является лишь тесниной следующей очереди укреплений в глубине прорванной обороны.

Что было сейчас в темном немецком лесу? Оттуда выходили танки в контратаку, и туда они возвращались — те из них, что способны были возвратиться. Однако немцы понимают, что мы уже учли такое назначение леса, и что же они предпримут? Будут ли они ночью или утром снова контратаковать нас танками из леса или откажутся от этого в предвидении, что мы, естественно, обеспечим тут мощный противотанковый огонь?

— Порошков, сходи к артиллеристам, — сказал Мещерин, — попроси, чтобы майор Беляков сейчас же зашел ко мне...

Ординарец ушел. Мещерин читал карту. Против его полка было три прудовых водоема. Немцы, возможное дело, уже заложили взрывчатку в тела плотин или под водоспуски и взорвут их, тогда неподвижные водоемы обратятся в поток, и балка станет на время рекою, а затем долго будет мочажинной, заболоченной топью, и трудно, тяжело придется работать и двигаться здесь машинам, пушкам и людям.

Далее, за балкой, слева на фланге, находились огневые укрепленные точки противника, прикрывающие подступы с юго-запада к двум населенным пунктам. Мещерин расположил против них два своих батальона, третий его батальон стоял против леса, еще одна рота автоматчиков была у него в резерве.

Что было в лесу и за лесом, что было еще далее, в глубине обороны противника, где нынче же ночью придется идти батальонам Мещерина, — то оставалось неразведанного тайной.

Он вышел из блиндажа наружу, подышал свежим воздухом и посмотрел на погоду. С Балтики быстро шли холодные тучи, но поверх туч светила луна, и ее неподвижный магический свет слабо проникал сквозь тучи, еле озаряя землю из невидимого светильника, как бывает в сновидении.

В томлении Мещерин пошел по земле. Его беспокоил немецкий лес на правом фланге. Он бы мог сказать майору Белякову, командиру артиллерийского полка, чтобы Беляков выставил достаточно орудий против того леса на случай, если немцы начнут контратаковать из леса танками. Но Мещерину нужны были пушки Белякова на левом фланге, там следовало скоро и сокрушительно подавить развитую систему огневых точек противника. Затем много пушек потребуются при движении вперед в плохо разведанную глубину противника. Поэтому густо держать артиллерийские стволы против леса было неэкономно, этим ослаблялся удар по огневым точкам немцев на левом фланге, и это могло задержать наше движение в глубину — к немецким населенным пунктам.

Мещерин обратился лицом на восток. Он находился сейчас здесь один. Его полк был подобен мечу, вдавливающемуся в тело мучителя его народа, но рукоятка этого меча была в руках у Мещерина, и от движения его руки, от мысли Мещерина зависело, вонзит ли он меч в тело врага на разрушение его или противник иступит его меч и даже сломает его своим сопротивлением.

«Родина, помоги мне», — прошептал вслух Мещерин. Ему страшно стало своего долга и своей ответственности. Он понимал еще и то простое жизненное обстоятельство, что если он примет сегодня в ночь неверное решение, то его далекие дети и дети всего народа лишний день проживут не по-детски, не получив всего, что положено иметь ребенку — близость родителей и вдосталь молока и сахара.

Он увидел силуэты людей и возвратился в блиндаж. Пришел майор Беляков с Порошковым, и Мещерин поговорил с майором о ночной задаче.

Беляков был хорошим артиллеристом, но он любил готовые цели и ясность положения на поле боя.

— Давайте, Сергей Леонтьевич, куда и во что мне бить. Мне нужна работа, — сказал он Мещерину. — А лес этот, — он указал по карте, — у меня есть стволы против него, — там танки должны быть.

— Они были там, — произнес Мещерин, — а теперь мы не знаем.

— Может, и нету, — согласился Беляков. — Свободная вещь, что ушли.

— Пушки ваши мне слева нужны, а тут вы их столько держите, что, может быть, и зря, как вы полагаете? Поменьше бы хватило!

Беляков на минуту озадачился. Он был полный на тело, веселый по нраву человек, но не любивший думать над тайнами, если не было фактов, чтобы их разгадать.

— Я реалист, Сергей Леонтьевич, — сказал майор. — У вас есть разведка по этому лесу?

— Пока нет, — ответил Мещерин. — Я велел ее выслать из третьего батальона туда. Когда люди вернутся, мне позвонят.

— Вам виднее, Сергей Леонтьевич... Действуйте, как находите точнее, а я поставлю свои пушки куда нужно и попаду во что требуется.

— А ваше мнение, товарищ майор?.. Я могу и вовсе не получить от разведки ничего. И у меня времени мало.

— Мои наблюдатели слышали в этом лесу моторы машин, — сообщил артиллерист.

— Да, но что это значит?

— Да ничего не значит, Сергей Леонтьевич, — засмеялся Беляков. — Мало ли какая машина там шумела и куда она шла, может, это тягач кряж волок!..

— Для хорошего солдата все звуки на войне, вероятно, понятны, как буквы для грамотного человека, — сказал Мещерин.

— Ах, да! Ну конечно! — понял и смутился Беляков. — Это совершенно точно, Сергей Леонтьевич.

Мещерин посмотрел на часы.

— Я могу быть свободным, товарищ подполковник?

— Да, а через два часа мы снова с вами увидимся, Владимир Иванович. Тогда я вам скажу, как быть с этим лесом. Я думал, вы сами кое-что знаете...

Артиллерист ушел, Мещерин отправился к начальнику штаба полка майору Полуэктову, работавшему в соседнем блиндаже. Полуэктов уточнял задачу для батальона. Как всегда, он считал данные о противнике совершенно недостаточными. Он сидел за картой, чертил на ней знаки, проектируя бой, и бурчал в махорочные усы недовольство. Если ему поручить боевую задачу, то он никогда бы не мог начать ее решения вследствие крайней аккуратности своего характера, требующей невыполнимой точности, ясности, взвешенности всех элементов предстоящего дела, но и тогда, если бы того достигнуть, он все же не был бы уверен: так ли это все, а может, все выйдет наоборот. Однако добросовестность Полуэктова, хотя и обезволена щепетильной рассудочностью, все же являлась достоинством, и Мещерин, ценя в Полуэктове то хорошее, что в нем было, не принимал в расчет его бездейственных суждений.

В который раз Мещерин начал снова читать местность по карте, затем он просмотрел разведывательную сводку штаба дивизии и прочие документы, но мало было точных данных, годных, чтобы их положить в основу плана наступательного боя.

— Что-то у нас великоват получается этот самый коэффициент неопределенности и неизвестности, — сказал он Полуэктову.

— Вот то-то и дело, — сразу согласился Полуэктов. — То-то и дело, о том и душа-то болит.

— Вот здесь у него есть минометы, — говорил Мещерин, указывая точку на карте, — здесь позиция очень удобная, я бы тут держал огонь по пехоте. Обязательно бы держал! А у нас тут неясность, мы не знаем, есть ли там эти минометы на самом деле.

— Артиллеристы тоже оставляют эту точку втуне, — доложил Полуэктов, — для них это не цель.

— Надо накрыть огнем эту неясность! — сказал Мещерин. — И накрыть надо огнем той же плотности, майор, как разведанную цель: допустим, что у них здесь батарея шестиствольных.

— Есть, — произнес Полуэктов. — Я сговорюсь с Беляковым.

Мещерин позвонил в третий батальон:

— Как дела, Богатырь?.. Пришли наши дети из чужой деревни?

«Богатырь» ответил, что «дети» вернулись, но только не все, двоих еще нету. Тогда Мещерин сказал, что он сам сейчас придет в батальон, и вышел наружу. До штаба третьего батальона было недалеко, всего метров восемьсот.

Тихая ночь войны, проникнутая взорами тысяч бодрствующих людей, медленно лилась на землю. Мгновенные невнятные звуки изредка возникали во тьме и снова утихали в безмолвии. Время от времени в дальнем мраке, рассеивая напряжение, светилась ракета, и она гасла...

Командир батальона майор Осьмых доложил командиру полка, что первая разведгруппа возвратилась, а вторая вот-вот ожидается; общее же положение на участке батальона без изменений, но томит безвестность, и люди устали, утратив в сегодняшних боях многих своих товарищей.

— Мучит меня этот неведомый лес, Сергей Леонтьевич, — сказал майор Осьмых. — Как в ночь идти нам туда, что мы там встретим?

— Надо знать, за неведение смерть бывает, — произнес Мещерин. — А с чем пришли ваши разведчики? Позовите их сюда!

— Да что мои разведчики! — угрюмо сказал Осьмых. — Пустяки они разведали... Были у меня два разведчика — Пушкарев и Веретенников, нет их более...

Младший лейтенант Анжеликов доложил командирам, что он разведал у противника. Он ходил на южную опушку соснового бора с двумя сержантами — Храмовым и Петрушевым. Храмов проник в глубину леса.

— И что же? — спросил Мещерин. — Доложите подробно каждую мелочь...

Разведчики, спускаясь по скату балки с нашей стороны, заметили, что вершины двух деревьев, росших в лесу, наклонились и пали.

— Как они падали? — заинтересованно спросил Мещерин. — Навстречу друг другу или врозь?

Анжеликов задумался.

— Не установили, товарищ подполковник...

— Позовите Храмова и Петрушева, — приказал Мещерин.

Сержант Храмов доложил, что деревья падали навстречу одно другому, потому что немцы их валили на завал дороги, а завалка иначе не делается.

— Вы это глазами видели, что деревья валились вершинами друг к другу? — спросил Мещерин.

— Никак нет, товарищ подполковник, — произнес Храмов, — глазами я этого не упомянул.

— А надо бы упомянуть глазами, сержант! — сказал подполковник.

Петрушев обнаружил в лесу котлован, в котором незадолго стоял танк: один земляной откос был еще теплый на ощупь, туда, наверно, били газы из выхлопных труб при разогреве мотора.

Оба разведчика слышали в глубине леса работу танковых моторов, но стало темно, глухо, и дойти до машин они не сумели.

— Подолгу работали моторы и слышно было по звуку, что машины удаляются, или нет? — спрашивал Мещерин.

— Не подолгу, нет, не подолгу, — сказали оба сержанта.

Анжеликов доложил, что танки, похожее дело, шли на короткие расстояния внутри леса. Тогда Мещерин спросил его:

— А зачем, как вы думаете?

Анжеликов не знал.

— Если танки противника остались в лесу, то зачем немцам устраивать завал своей же дороги? — обратился Мещерин к майору Осьмых.

— Да, — озадачился Осьмых. — Было неизвестно, а стало вовсе загадочно.

Мещерин отпустил разведчиков и сказал майору:

— Нет, Иван Ефимович, нам все будет известно, надо только думать уметь...

Немного погодя явились двое разведчиков из второй группы. Их задачей было обследование западной опушки леса. Они шли уже затемно и вовсе не слышали никаких звуков в лесу. Противника они не обнаружили; они прошли по опушке в глубину местности почти до северной окраины леса, и там они наблюдали то, что им было непонятно. Когда луна затемнялась бегущими тяжелыми тучами, разведчики видели вдаль, в полевом пространстве, краткое свечение нескольких точек, — свет был фиолетового и оранжевого цвета и беззвучен, словно то сияли замедленные зарницы, когда же луна изредка освещала поле, разведчики видели в том же направлении, где во тьме вспыхивал безмолвный свет, низкий голый частокол, как будто на земле лежала длинная рыба с обглоданными костями ребер или будто из земли выросли зубы.

— Все делается более ясным, — тихо сказал Мещерин и, поблагодарив разведчиков, отпустил их.

— Что же ясно-то, Сергей Леонтьевич? — спросил майор Осьмых. — Ну, частокол я понимаю, — это, конечно, «зубы дракона», видать я их сам не видал, но слышал про них, а что там еще светится, какая зарница? Или ребятам так показалось?..

— Нет, они рассказали точно, — произнес Мещерин, — все так и есть. Они видели противотанковое препятствие, железобетонные зубы дракона — надолбы, а перед этой «челюстью дракона» немцы, значит, поставили еще одно заграждение — они пропустили по проволоке ток высокого напряжения, чтобы наша пехота не прошла там.

— А свет?

— А свет — это явление короны. Ток высокого напряжения стремится истечь с поверхности проводника в пространство, и, если бывают к тому физические условия, ток как бы взрывается с проводника, и тогда он слабо светится, Иван Ефремович, он светится короной вокруг проводника.

Осьмых грустно улыбнулся, оттого, что сам он никогда бы не мог сообразить того, о чем услышал от командира полка.

— Эх, башка! — сказал Осьмых и ударил сам себя кулаком по голове, он уважал Мещерина и завидовал ему.

— Вы что? — спросил Мещерин.

— Ничего, Сергей Леонтьевич, — я вижу, офицер должен знать все на свете, в точности и в подробности.

— Совершенно верно, Иван Ефремович. И сверх всего он должен понимать еще кое-что... Я скоро буду говорить с генералом, а после захода луны мы выступаем вперед... Через час вы приходите ко мне, я поставлю задачу вашему батальону.

В своем штабе Мещерин вместе с Полуэктовым стали чертить по карте живую, точную картину предстоящего боя. Мещерин обладал духом творческой мысли и воображения; он смело, словно своевольно, соединял в одно целое разрозненные, противоречивые факты действительности, чтобы из них получился единый живой образ знания, в котором уже возможно прочесть верное решение для его воли, для технического расчета действий его подразделений.

Полуэктов иногда удивлялся, иногда возражал, но изредка и он восхищался волшебным развитием мысли командира, угадывающей с точной ясностью тайну врага. Постепенно и у Полуэктова сложилось представление о замысле противника, и на этом основании уже можно было проектировать свой наступательный бой.

Командир был прав. Немцы едва ли занимались сейчас лесозаготовками в сосновом бору, — значит, сводя деревья, они делали завалы дорог на случай, если мы прорвемся в тот лес. Свои танки, оставшиеся в лесу, немцы оттуда не вывели, а закопали их или поместили в углубленные котлованы, как постоянные огневые точки.

План обороны противника заключался здесь в том, чтобы уничтожить полк Мещерина. Меж густыми огневыми точками на левом фланге и лесом на правом лежало чистое поле, причем оно могло простреливаться точным огнем из дотов слева и, возможно, танками справа, а в глубине этого поля, на подходе к двум населенным пунктам, нас ожидала «челюсть дракона» и проволочные препятствия под током. И более того, как только наши подразделения выйдут на поле меж лесом и системой дотов, немцы взорвут прудовые плотины, образуют в тылу наступающих водную преграду, отрежут нас от тылов и резервов и начнут уничтожение нашей живой силы на поле перед «челюстью дракона».

Мещерин велел передать обстановку по радио командиру дивизии и свой план решения поставленной его полку задачи. Он попросил также, чтобы его соседи справа и слева одновременно с ним, после захода луны, приступили к решению своих задач или же произвели хотя бы демонстративные действия.

После того Мещерин вызвал к себе командиров своих батальонов и командира артиллерийского полка майора Белякова. Но тут же Мещерин отменил свое распоряжение, потому что с рубежей третьего батальона он услышал огонь броневое, а затем пушечные выстрелы немецких танков. Все сразу изменилось и стало другим, как бывает в жизни и на войне.

Командир третьего батальона майор Осьмых доложил по радио Мещерину, что против него идут пять танков, они сейчас проходят балку ниже прудовой плотины, а за машинами движутся пехотные цепи числом не менее двух рот. Их обнажила на земле засветившаяся меж тучами луна и обнаружили посты боевого охранения.

Мещерин задумался над картой; он представил в живом видении местность перед собой — плотину, немецкие танки и бегущую вперед пехоту врага, а также свой усталый третий батальон, ночь и тучи с заходящей за ними луной.

Истинное решение, то есть проект победы, находилось здесь же, в правильном и внезапном для врага использовании резко изменившейся обстановки. Мещерин уже предчувствовал это истинное решение, оно уже было в его сердце, но его еще не было в его мысли, и он, томясь, вспомнил, что плотины, всего вероятнее, заминированы противником, и сейчас немецкая пехота как раз проходит сухое место балки меж двумя водоемами.

— Я с ними сделаю то, что они хотели сделать со мной! — вслух сказал Мещерин.

И общее решение его легко сложилось вокруг этого первоначального намерения, которое само по себе еще не давало ему возможности занять два населенных пункта за «челюстью дракона».

Мещерин передал майору Осьмых, что он дает ему на усиление резервную роту, и приказал майору, чтобы он после того, как эта контратака будет отбита, отводил свои роты на правый фланг. Затем майор должен, обойдя пруд в верховье, направиться в лес, занять его опушку и завалить деревьями выходы танковых дорог противника.

Майора Белякова Мещерин попросил немедля разрушить артиллерийским огнем земляную плотину водоема, ниже которой двигались немцы; остальной артиллерии правого фланга следовало уничтожить вырвавшиеся танки. Своему резерву, роте автоматчиков, Мещерин велел занять второй рубеж и истреблять пехоту, которую ведут за собою танки. Одновременно Мещерин указал Белякову, чтобы он дал всю мощь огня на левом фланге: надлежало сразу накрыть всю систему огневых точек противника и держать огонь до их сокрушения, впредь до нашей пехотной атаки по сигналу. Командирам первого и второго батальонов Мещерин приказал обходить живую силой группу огневых точек, накрываемых нашим огнем, — с тем чтобы первому батальону пробиваться вперед, к немецким населенным пунктам, а второму батальону занять штурмом всю систему огневых точек после их подавления артиллерийским огнем.

Ничего нельзя было забыть, и все надо было делать одновременно, почти мгновенно. Офицера связи Рыжова, дав ему двух саперов, Мещерин направил на плотину, расположенную ниже той, которую Беляков должен разрушить. На той, нижней плотине Мещерин при-

казал Рыжову открыть водоспуск, чтобы вода, идущая сверху, сработав свое дело для Мещерина, не сорвала нижней плотины и не повредила соседям.

— Водоспуск, вероятно, заминирован, — сказал Мещерин саперам, — разминуйте его.

Все же Мещерин через дивизию предупредил соседа слева о том, что он делает.

Больше всего Мещерина беспокоило, что на левом фланге не столь достаточно артиллерии, а на правом ее все же избыток, хотя бой сейчас идет именно на правом фланге.

Дело началось сразу во всю мощь.

Голос нашей артиллерии, произойдя из безмолвия, гремел и расширялся сейчас над темной землей, будто великая песнь, таившаяся в кроткой тишине, теперь ветром шла по миру и ветер ее обращался в ураган, а ураган — в гибель. Мещерин вышел на минуту из блиндажа и посмотрел на землю и небо: по небу волнами шло красное зарево дышащих орудий, и в ответ нарастающему огню небо гудело, как чугунное, словно раскручивалось в яростных оборотах мчащееся издали, наступающее и давящее всех впереди тяжелое весом колесо.

Беляков, командный пункт которого был почти рядом с блиндажом Мещерина, прислал связного. Связной доложил, что плотина разрушена, вода из пруда затопляет местность ниже этой плотины, а эту местность только что миновала немецкая пехота и теперь у них в тылу илистая вода и мертвая оглушенная рыба. Беляков сообщал далее, что один танк сожжен и два подбиты, а остальные два пока еще мечутся; теперь он ведет плотный отсечный огонь по пехоте.

Мещерин велел Белякову немедленно передвинуть две батареи на усиление левого фланга, а остальными пушками уничтожить два танка и после того дать весь огонь в глубину расположения противника — на внешний край «челюсти дракона», чтобы искрошить электрическую систему высокого напряжения. Мещерин передал примерные координаты «дракона», но приказал сразу же послать туда артиллериста-корректировщика, который должен действовать согласованно с командиром третьего батальона.

Ночь от блеска огня стала непроглядной, луна теперь уже закатилась. Полуэктов сильно тревожился за положение в батальонах на левом фланге.

Из первого и второго батальонов действительно пришло донесение, что противник ведет столь сильный огонь из дотов, что обойти их не удастся, и наша пехота залегла и зарывается в землю. Наш артогонь ведется довольно точно, но живучесть врага в его укреплениях еще велика.

Командир дивизии запросил по радио обстановку и сообщил Мещерину, что оба его соседа двинуты в дело со своими задачами; Мещерину же надлежит обязательно занять два немецких населенных пункта не позднее пяти часов утра, памятуя, что на его направлении решается основная задача всей дивизии, причем Мещерину не следует сегодня ожидать свежих сил противника на своем участке.

— Справишься, Сергей Леонтьевич? — спросил командир дивизии. — Что будет нужно, я помогу. Когда начнешь, я тебя поддержу тяжелыми пушками. А к рассвету я, может, сам приеду к вам в полк.

— Будем трудиться, товарищ генерал, — ответил Мещерин.

Беляков сам явился к Мещерину и, довольный, рассказал, что два последних немецких танка хотели отойти обратно, но увязли в балке в илистом наносе, они теперь стоят по брюхо в воде и буксуют на месте.

— Расстрелять их надо, некогда нам их рассматривать, — сказал Мещерин.

— Зачем, товарищ подполковник? — засмеялся Беляков. — У них боеприпасы вышли, они беззубые, я своих ребят с двумя тягачами и гранатами послал, они их живьем доставят, они уже у них на броне сидят... Пусть в доход идут! Чего добру пропадать?

— Как дела с «челюстью дракона»?

— Бил я туда изредка на ощупь. Сейчас велел обождать стрелять, корректировщик молчит, сигналов от него нету.

Мещерину не понравилось это долгое дело. Явившийся командир роты автоматчиков старший лейтенант Невзоров доложил командиру полка обстановку: немцев за танками шло человек около двухсот, иные из них побиты, иные рассеялись во тьме, и до утра их трудно обнаружить.

— Товарищ Невзоров, — обратился Мещерин, — я вам ставлю новую задачу. Я вам покажу по карте. Вы знаете, в каком состоянии наш третий батальон?

— Приблизительно, товарищ подполковник.

— Вот, вы обойдете посуху пруд, выйдете сюда, на опушку леса, там вы встретите наших людей из третьего батальона. Затем вы пойдете по западной опушке леса и будете двигаться вперед, вот сюда — к этим «зубьям дракона». Вы их представляете себе? Впереди вас будут идти два танка.

Мещерин объяснил, что он называл «челюстью дракона».

— Теперь, — обратился Мещерин к Белякову, — я прошу вас, товарищ майор, все ваши орудия дать мне на поддержку левого фланга. Задачу вы знаете, затем вот еще что... У вас есть люди, которые могут заправить эти два годных немецких танка и повести их, — Мещерин посмотрел на карту, — вести их надо километра четыре, вот до «дракона» этого...

— Такие мастера у меня найдутся! — ответил майор.

Через сорок минут оба немецких танка с нашими водителями пошли в обход высыхающего пруда; за машинами, но в отдалении от них следовали группами автоматчики, а на броне машин лежало по двое бойцов с противотанковыми гранатами.

Майору Осьмых Мещерин поставил задачу — проникать постепенно в лес, выслав вперед разведчиков, и выходить далее в направлении «дракона», где уже будут действовать штурмовые группы. Мещерин был уверен, что в лесу ничего, кроме нескольких танков, нет. Если они способны простреливать полевое пространство перед «челюстью дракона», обороняющей подходы к населенным пунктам, или могут выйти из котлованов и пойти своим ходом во фланг или в тыл нашим штурмовым группам, тогда майор Осьмых завяжет с ними бой и отвлечет их на себя.

— Видал я бои, — сказал Полуэктов Мещерину, — но от нынешнего боя и у меня голова думать устала... Чего это первый и второй опять замолчали? Порошков, позови радиста!

Мещерин вслушивался в нарастающий гул огня на своем левом фланге: майор Беляков там работал быстро.

Командиры левого фланга донесли, что огонь немцев слабеет, но идти вперед все еще трудно.

Мещерин поглядел на часы. Два танка и Невзоров должны уже подойти к «челюсти дракона». В волнении он вышел наружу, поднялся из хода сообщения на накат блиндажа и посмотрел в нужном направлении, хотя, он сам знал, едва ли что сейчас можно было разглядеть и понять отсюда. Но Мещерин кое-что увидел и понял. Вдали, где лежала «челюсть дракона», засветились две немецкие ракеты. Но блеска разрывов снарядов видно не было, значит, немцы оказались в недоумении и пока еще не знают, почему два их танка подошли к их «дракону». Мещерин дал задачу Невзорову и его гранатометчикам на броне, не подходя вплотную к электрической высоковольтной линии, разбить ее гранатами с ближней дистанции. Машины должны подойти к «дракону» одновременно, но на расстоянии ста метров одна от другой: на этом промежутке электрическая линия, оборванная с двух концов, станет неопасной для жизни. Обстрел «челюсти» немцами будет мало полезен для самих немцев, потому что чаша железобетонных зубов оборонит ползущих меж ними людей Невзорова.

Старший лейтенант Невзоров исполнял в точности свою задачу. Он сам ехал в одном из танков и слегка приоткрыл люк, чтобы лучше смотреть по местности. Однако трудно было одновременно разглядеть провода возле «дракона», а немцы, услышав работающие моторы, упредили Невзорова и дали в воздух ракеты, ослепившие водителей, и танки на скорости, с включенными фрикционами рванули корпусами электрическую линию, и тогда люди на машинах вторично были ослеплены молниями, а танки напоролась на зубы своего «дракона» и

стали на месте. Ток мгновенно получил заземление через тела машин; людей же лишь тряхнуло, а иных на время свело судорогой. Однако метать гранаты уже не надо было, что пошло только на пользу дела.

Все группы автоматчиков Невзорова благополучно миновали «челюсть дракона» и вышли на окраину немецкого населенного пункта.

Вскоре над «челюстью дракона» засветились сразу четыре ракеты; немецкая батарея ударила из одной усадьбы по пустым немецким танкам и разбила их. Невзоров заметил расположение батареи и направил туда автоматчиков, чтобы уничтожить оружейные расчеты. Невзорова удивила тишина и безлюдье в этом немецком городке; должно быть, немцы, прикрытые спереди «драконом», считали этот городок безопасным и держали здесь только артиллерию.

У Невзорова не было рации, поэтому Мещерин долго не знал о его действиях. Однако на поддержку Невзорову Мещерин приказал майору Осьмых выделить одну роту и направить ее в сторону «дракона» меж двумя танками, обеспечив движение роты разведкой.

Осьмых доложил, что в лесу обнаружено три закопанных танка и одна его рота ведет сейчас перестрелку с боевым охранением противника.

— Действуйте пока так, — приказал Мещерин. — А вы сами держите связь со своей ротой, что пойдет к «дракону», и следуйте затем за нею с остальными подразделениями, если Невзоров уже прошел вперед. Пора кончать задачу! Из этого леса немцы сами утром уйдут — к нам в плен.

На левом фланге с прежним напряжением работала наша артиллерия.

«Нельзя так долго! — думал Мещерин. — Неужели Беляков бездельник?»

Вошел радист и подал Мещерину записку от командира первого батальона: огонь немцев ослабевает, батальон обошел с запада немецкую укрепленную полосу.

— А что нам делать со вторым батальоном, Сергей Леонтьевич? — спросил Полуэктов.

— Есть у него потери?

— Командир давеча сообщал, что незначительные. Что ж, он еще и не начинал выполнять свою задачу, ему ведь штурмовать надо.

Артиллерийский огонь внезапно утих. Беляков позвонил Мещерину по телефону:

— Товарищ командир полка!.. Ваш командир второго просит сигналами прекратить огонь, у него, наверно, рация вышла из строя. Вы его не слышите?

— Нет, — сказал Мещерин. — Прекратить огонь, товарищ майор, до нашего требования.

— Есть, — произнес Беляков.

— Второй штурмует, Сергей Леонтьевич! — сказал довольный Полуэктов.

— Да, — сказал Мещерин. — А что сейчас в третьем?

Через полчаса майор Осьмых доложил, что восточный населенный пункт уже давно занят Невзоровым, а Осьмых сейчас только занял западный городок; там был гарнизон человек в полтораста, он рассеян нами, и еще там находились тылы пехотной дивизии, действующей против соседа слева.

— Все, — произнес Мещерин, — задача решена. Сейчас четыре тридцать. Скоро приедет генерал.

— Четыре тридцать, только всего, — согласился Полуэктов. — А я с вечера прожил так долго, как будто десять лет прошло, как будто мы с вами постарели, Сергей Леонтьевич.

— Да, — сказал Мещерин. — Сегодня наш полк дал «дракону» по зубам.

Подполковник положил голову на карту и десять минут спал кротко и блаженно, как в младенчестве, потом он опять поднял голову и начал работать,

ДОМАШНИЙ ОЧАГ

В светлом августе месяце русские поля со сжатым хлебом делаются словно безвоздушными — столь чисто бывает над ними небесное пространство, еще полное сияния лета, но уже стынущее по утрам.

Когда человек смотрит на это небо, в сердце его возникает желание долго жить на земле и будущим годом снова увидеть лето.

Красноармейцу Петру Ивановичу Щербинникову тоже хотелось еще долго жить на свете, хотя он уже прожил тридцать лет. Он уже воевал почти два года, но с ним в одном взводе служил красноармеец Ракитин — тот воевал уже третий год и участвовал в финской кампании, он был ранен три раза, а Щербинников только два, и поэтому Щербинников думал о Ракитине всегда с уважением. «Ого! — думал Щербинников, — я что! Вот Ракитин служит, ему и сроку больше вышло, и на теле больше, а мои раны были легкие, и они зажили!»

Сейчас Щербинников смотрел из траншеи в утреннее августовское небо.

Ракитин подошел к Щербинникову и спросил у него, сыт ли он и исправно ли у него все снаряжение, а то скоро надо идти в бой; Ракитин сказал еще, что та деревенька, которую придется взять, уже не Орловской будет, а Брянской области.

— А что такое артиллерии нашей не слышать? — спросил Щербинников. — После артиллерии мягче было бы ходить.

Ракитин сообщил о том, что говорил ему старшина вчерашний день: в той деревне немцев вовсе мало, туда ходила наша разведка, и она рассмотрела неприятеля; поэтому наша артиллерия едва ли будет тратить огонь по малой цели, где противника можно одолеть штыком, а остаток его забрать в плен. Потом Ракитин поглядел на Щербинникова и сказал ему:

— Усы растишь — думай о них. Что они у тебя лохмотьями висят?

Щербинников оправил свои усы, отросшие с начала войны и выгоревшие на солнце до белого цвета; лицо же его потемнело от жары, от ветра, а волосы на его голове и брови были такого же цвета, что и усы, — созревшей пшеницы.

— Оправься, Петр, сейчас вперед пойдем! — сказал Ракитин. — Обратно вернемся, тогда к ручью на ночь сходим, надо рубахи постирать...

По команде весь взвод выбрался из траншеи наружу и побежал по пустой местности на русскую деревню, населенную неприятелем. Из деревни противник открыл частый минометный огонь, но красноармейцы, уже обтерпевшиеся в долгих боях, умело одолевали поражаемую огнем землю, то припадая к ней, то снова подвигаясь по ней вперед.

Добравшись до колодезного сруба возле овина, Щербинников залег за ним. Из избы на каменном фундаменте, что находилась справа за овином, упорно, затаенными едкими очередями стрелял автомат. «Его надо убить, — решил Щербинников про этого стрелявшего врага. — А лучше бы в плен его взять». Он осмотрелся и побежал кружным путем по дикому, с утра уже жаркому бурьяну, согнувшись и чувствуя, как сердце его чистым стуком отвечает на свистящее пулями биение автомата. Щербинников с ходу ворвался в избу и напал на стрелявшего через подоконник, не услышавшего его автоматчика. Щербинников ударил неприятеля не до смерти прикладом по голове, и тот сплоскался, и огонь его умолк.

Взвод Ракитина и Щербинникова держал до времени оборону в завоеванном пункте.

В деревне теперь стало тихо: бой гремел уже вдалеке, на правом фланге. Ракитин остался на посту, чтобы глядеть вперед на случай чего, а Щербинников лег на землю, где стоял до того, и сразу уснул.

Проснулся он после полудня. Во сне он забыл про войну и непривычно огляделся вокруг, чтобы понять, где он находится.

В деревне остались лишь две избы, а прочие избы погорели и омертвели в золе. Только печной очаг, как основание и корень каждого жилища, почти повсюду стоял уцелевшим, хоть

и был обгорелым и порушенным. Однако он служил местом, вокруг которого снова должно собраться хозяйство и утвердиться гнездо человека.

Два немецких танка — «тигры» — и пушка «фердинанд» хотели пройти напролом через один убогий крестьянский двор. Танки подняли гусеницами плетень, а «фердинанд» покryл собою колодец в усадьбе, и тут они были погублены намертво русскими пушками. Но промеж тех подбитых танков осталась русская избяная печь с закопченным устьем и загнеткой, на которой стоял горшок. И возле уцелевшей печи крестьянка-старуха месила теперь глину голыми ногами, чтобы обмазать свой домашний очаг, а старик хозяин в тени мертвого «тигра» тесал бревно на постройку.

Щербинников подошел к хозяевам и узнал их судьбу. Позавчерашний день фашисты погнали из деревни в Германию оставшихся крестьян. Старуха положила на тележку мешок с картошкой, горшок из печи, последнюю одежду, посадила внука наверх, и старик повез тележку на двух колесах в Германию, как немцы велели.

— А где ж у вас внук находится? — спросил Щербинников.

— А вон, чумовой, по полю ходит, — сказал старик. — Того гляди на mine в прах разорвется...

Щербинников задумался, — у него тоже был малый сын: что он делает сейчас в забайкальском селе, как он сыт там, обут и одет и помнит ли об отце или забыл уже его за малолетством?

— А где ж его отец? — спросил Щербинников.

— Да где теперь весь народ, там и он — в Красной Армии, — ответил хозяин. — Он сыном мне приходится, два года слуху нету...

— Объявится еще, — произнес Щербинников. — Теперь все разыщутся — мы немца ко двору его обратно толкаем...

— Может, и объявится, — охотно согласился старик. — И на войне смерти-то на всех не достанется: которые и живыми вернуться... Намедни и мы с семейством думали, когда нам фашист-то велел уходить из России, что, стало быть, близка наша смерть. Где ты без своей избы-то и без России проживешь? Взять хоть и Германию — там наш человек не может: он там от одной думы, от одного своего сердца помрет — сердце-то его здесь привыкло дышать, оно здесь отогревалось. Глянул я вдаль, как тележку от своей деревни откатил, и вижу — не там нам быть, нет, не там, и по телу чувствую — нет, не время мне еще помирать; сообразил я, снял одно колесо с тележки и закатил его в рожь от греха. Тут немец явился, зашумел на меня, а я ему: «Ты же видишь, что колесо сошло, отыщу, дескать, налажу и тогда помаленьку поеду». А на поле-то гром, пальба. Да мы уж привыкли! Пошли мы со старухой и внуком в рожь — колесо искать, а по ржи вышли в балку, прожили там в невидных местах двое суток, а потом вышел я снова на орловскую дорогу, гляжу — наши русские впереди идут, — я тогда собрал семейство и обратно ко двору вернулся...

— А как же ты жить теперь будешь, хозяин? — произнес Щербинников. — У тебя всего один печной очаг остался...

— Была бы печь, — сказал крестьянин. — С печи изба примется, а с избы все хозяйство возьмется. Пускай только врага не будет.

Мальчик лет семи или восьми подошел к деду и загляделся на Щербинникова. Ребенок был худ и одет в одну рубашонку, но лицо у него было большое и угрюмое, с неподвижными, печальными глазами.

— Иван, ступай глину копай и к бабке неси, — сказал дед внуку.

Иван поглядел на деда.

— Тетка Анята корову пригнала от немцев ко двору, — сказал Иван, — а дядя Прошка хлеб пошел косить, он мину скошил, и его огнем убило. Он там один в хлебах лежит, я видел.

— Ступай глину бабке таскай, — велел ему дед. Иван пошел работать; Щербинников тоже взял тогда топор у старика и сказал ему:

— Дай-ка я, хозяин, бревно тебе обещу — от войны отдохну. А ты ступай — волоки мне еще материалу...

Щербинников поработал топором не много, потому что его кликнул Ракитин. Щербинников ушел на пост наблюдения, а Ракитин явился к уцелевшему остатку домашнего очага и стал глядеть на работу крестьянского семейства. Поглядев, он пошел по деревне искать цельные кирпичи, чтобы положить их в порушенную кладку домашнего очага. Ракитин любил кирпичное и каменное огнестойкое дело; до войны он работал мастером в черепичной мастерской.

Щербинников стоял на посту в обороне и осматривал местность вокруг себя... Согбенная рожь, уже созревшая, стояла на поле. С края хлебного поля начинался кустарник, опускающийся далее в пологую балку, но кустарник тот уже оголился и почернел: его насмерть обглодал артиллерийский и минометный огонь. Простая же трава, смешанная с цветами, стелилась по всей земле, как ее первоначальный бессмертный покров.

Издали доносились волны артиллерийских залпов, но ближе кротко стучал крестьянский топор, заново строя себе домашний очаг, чтобы опять было родное место у человека и чтобы снова из этого очага, как из малого семени, выросла вся большая русская жизнь.

Щербинников все слушал и слушал этот стук крестьянского топора, и ему становилось покойно на душе. «Хорошо быть крестьянином, — думал Щербинников. — И красноармейцем тоже быть хорошо, — потому что нужно. Без нас, без бойцов, старику бы и внуку его смерть была, а теперь они избу себе кладут. Без красноармейца ничего нельзя: зла на свете много».

Топор старого крестьянина по-прежнему терпеливо тесал бревно. Щербинников посмотрел в синее небо и на чистые, светящиеся облака на нем, плывущие далеко, неизвестно куда. И весь мир сейчас показался Щербинникову столь прекрасным, словно он был дотеле ему незнакомым и непривычным, и ему захотелось поплакать немного, пока нет никого. Но он вспомнил, как мать ему говорила когда-то, что если земля покажется человеку слишком хорошей, то такой человек должен скоро умереть.

— Нет, мама, — задумавшись о матери, сказал вслух Щербинников. — Ты жила давно, тебя научили бояться, и, кроме горя, ты боялась всего... Мы присягу давали умереть, когда нужно, если весь свет не будет таким, какой он должен быть для нас, для всех людей...

Мимо Щербинникова прошли две крестьянские женщины; одна несла мешок за плечами со своим добром, другая вела за руки двух девочек — дочерей. Народ шел от врага к своему родному жилищу и к своему хлебу.

— Вы больше не уйдете от нас? — спросила у Щербинникова женщина с двумя девочками.

— Никогда, — ответил ей красноармеец.

— Не надо от нас уходить, — попросила крестьянка. — Не сердчайте на нас.

— Мы не сердчаем, — сказал Щербинников. — А вы на нас тоже не держите обиды.

Мать-крестьянка долго глядела на красноармейца.

— Ничего, — произнесла она добрым голосом. — Наше горе теперь уже отлегло от сердца.

КРЕСТЬЯНИН ЯГАФАР

Он был самым старым человеком в районе, а может быть, и во всей Башкирии, и его звали всего чаще не по имени — Ягафар, а по старости — бабаем, что означает по-башкирски дедушка, старик.

От старости лет с бабая сошли все волосы — и с головы, и с лица, и он стал голым, мягким и нежным на вид, как младенец.

— Волосы ушли с меня, — говорил бабай. — Им надоело жить на мне: я ведь давно родился. Пусть ушли, я по ним не скучаю, пустое лицо мне легче носить.

И бабай смеялся пустым, жалким, но веселым лицом, из которого светились свежие, думающие глаза, все еще не уставшие смотреть на свет и искать своего счастья в нем. Он столько пережил за долгий век, и худого и доброго, что худого давно перестал бояться, а доброму сразу не верил.

Всемирной войны бабай тоже не испугался: он давно чувствовал, что где-то посредине земли зреет смертное зло, и теперь оно вышло наружу, в войну, как и должно быть. Бабай чувствовал нарастающее всемирное зло по людям, по томлению их мысли, по содроганию их тихих сердец, все более скупно берегущих свое счастье, свое семейство и свою родную землю — все, что будет скоро удалено от них и страдать отдельно в бедствии. Бабай чувствовал это по людям, подобно тому как можно угадать перемену погоды по небу.

После наступления войны бабай даже обрадовался, потому что до войны зло было далеко и скрытно, а теперь настала пора уничтожить его вблизи, в жизни, чтобы люди больше не боялись жить на свете, чтобы они не томились больше в разлуке с родными, не горевали от разорения своих дворов, не мучались голодом и увечьем, — чтоб отошла от них тоска, непосильная для человеческого сердца. Теперь настало это время, и бабай обрел надежду, что эта пора минует и тогда будет счастье.

Он пошел в гости по дворам, желая быть вместе с народом в такое время; дома у него была одна жена-старуха, все мысли и слова которой он знал вперед на будущее до самого конца ее жизни, и потому ему нужны были другие люди.

В гостях бабай пил кипяток с молоком, десять чашек в одной избе, восемь — в другой, беседовал и согревался. Ямаул — большое село, там есть где побывать на людях, посмотреть на их жизнь и на время, для отдыха, забыть о своих заботах.

Крестьяне, которые были помоложе бабая, собирались на войну и постепенно уходили из села — кто навеки, а кто на время, до возвращения после победы. Бабай провожал их, прощался с ними, горевал им вослед вместе с их родными, и совесть мучила его сердце.

— А я-то что ж! — шептал он себе. — Я, значит, бабай — в колхозе кур остался щупать. Или вправду жизнь моя прошла?

Опечаленный, он спросил у своей жены:

— Старуха, осталась во мне сила еще или нет ничего? Жена жила с ним вместе полвека, пятьдесят второй год, и она должна знать, что осталось в ее старике, а что унесла из него жизнь.

— Сам живешь, сам мучаешься, значит, силу свою чувствуешь, — сказала бабаю жена, — без силы человек не живет. А ты еще серчаешь на зло, а кто серчает на него, у того сердце твердое, хорошее, тот, знать, не скоро помрет.

Бабай послушал жену и подумал, что она говорит ему правду. В гостях же ему говорили, что его жизнь теперь в том, чтобы собираться на тот свет, поближе к Магомету. А жена, с которой ему скучно было разговаривать, сказала ему то, чего другие люди не умели сказать, потому что они не знали и не любили его так, как знала его старая жена.

— А на войну я гожусь? — спросил у жены бабай. — Пойду убью одного врага и потом доволен буду.

Старуха поглядела на своего старика как на малознакомого человека.

— На войну ты не годишься, — сказала жена. — У тебя кость от старости жесткая, ты сразу, как побежишь на врага твоего, споткнешься и сломаешься. На войну нужны люди хрящеватые — чтоб его тронули, поувечили, а он опять сросся и опять живой. А ты теперь ломкий.

Тут бабай подумал о себе, ломкий он или нет, а жена ему сказала еще:

— Куда тебе ходить, живи со мной на деревне. Чего тебе война: на войне сила тратится, а в деревне она рождается. Тут тоже забота будет, даром не проживешь.

Старый бабай опомнился и понял, что жена ему опять правду сказала — народная сила рождается в деревенской материнской земле, и войско народа питается от земли, распаханной руками крестьян, согретой солнцем и орошенной дождем.

Чтобы послушать о войне слова дальних людей и выпить чаю в буфете, бабай отправился на железнодорожную станцию. Там ехали в вагонах войска, отправляясь против неприятеля на войну, а со стороны войны ехали разные люди, чтобы работать и жить в покойных местах, где нет стрельбы и опасности умереть.

Бабай разговорился с одним пожилым человеком, ехавшим со стороны войны. Человек этот оказался Петром Федоровичем Беспаловым. Он был слесарем-электромехаником, но машины его завода увезли куда-то за Урал, а помещение завода сожгли немцы, и теперь Беспалов не знал, куда ему надо ехать и где остановиться.

— Да я не горюю, — сказал Беспалов старому башкирцу. — Работы везде много, а родина у нас везде наша.

— Правду говоришь, — сказал Беспалову бабай.

— Продай табаку, — попросил Беспалов. — Есть у тебя?

— Есть немного, маленько.

— Сколько тебе платить? — спросил Беспалов.

Бабай подумал: война еще долго будет, табаку мало останется, и штаны постареют, их чинить придется.

— Давай рубль денег и ниток катушку, — сказал бабай.

— Ты что нервный такой? — спросил у него Беспалов.

— Это не я, — сказал бабай. — Это в Уфе нервные: когда еще война в Абиссинии была, в Уфе лук подорожал. Вот там нервные!..

Беспалов поглядел на старика глазами, которые сразу стали у него и сердитыми и печальными.

— Хватит тебе одного рубля, — сказал он тихо и подал бабаю деньги, больше не желая говорить и торговаться и считая расчет окончательным.

Бабай увидел деньги, одну бумажку, и сначала захохотал, что этот человек не понимает, что сейчас война и что потом будет — какая цена, ничего не известно, а затем умолк, потому что Беспалов не улыбался и глядел на него чуждо и равнодушно, как на плохого человека. И старику понравился Беспалов, потому что старик бабай понял, что он сейчас был плохим человеком: он давно жил и не боялся думать о себе плохо, когда был плохим.

Бабай отдал табак Беспалову вместе с кисетом.

— Бери, — сказал он. — Я люблю, что меня смешит. Ты меня рассмешил, теперь табак твой. Я старый Ягафар и понимаю человека. Пойдем ко мне в гости в колхоз! Там у нас дело — забота есть.

Теперь Беспалов глядел на бабая простыми, счастливыми глазами. Он не взял табак у старика; он сказал, что они вместе его будут курить.

— Какая у вас там забота? — спросил Беспалов.

— Война пошла, хороший, умелый человек на войну поехал, — ответил старик, — в деревне кто останется? Что войско и народ кушать будут?.. Я живу, а сам думаю, я все думаю. Я, что ль, буду в колхозе генерал? — засмеялся бабай.

— Придется — и ты генералом будешь, — сказал Беспалов. — У вас там пища какая-нибудь зимой-то все ж таки производится? — спросил Беспалов.

Бабай замер от удивления, что такой глупый человек, как Беспалов, есть на свете и целым живет. Он же читал и верил, что рабочий класс — это умные люди. Но бабай все-таки опять позвал Беспалова к себе в гости: пусть в деревне и дурак живет, чтоб не скучно было жить другим.

Беспалов подумал немного и пошел в гости к бабаю. Он взял только из вагона свой сундук, окованный железом, и они пошли в колхоз.

В колхозе бабай повел Беспалова на молочную ферму. Там был сарай, устроенный из плетней, обмазанных глиной, и покрытый обветшалой соломенной кровлей. В том сарае всю осень, зиму и весну жили коровы; они и теперь там находились, потому что время года шло в глубокую осень и поля более не рожали травы.

От плетневых стен фермы отвалилась глина, и ветер сквозь щели дул снаружи в худые кости коров и остужал их теплые, добрые тела. Беспалов потрогал коров своей большой рукой, погладил их и отошел. Но возле одной коровы он вновь остановился и долго глядел на животное, и корова в ответ смотрела на него грустно и осмысленно. Корова эта стояла поперек своего места, прислонившись боком к плетневой стене, загородив от стужи другую корову, послабее и помоложе на вид, которая стояла тут же, уткнувшись мордой в теплое вымя старой коровы.

— Мать с дочкой, — сказал бабай. — Дочка выросла, а дурная; от матери не отвыкла.

— Зачем ей отвыкать, — сказал Беспалов, — у нее мать хорошая, она дитя свое от ветра бережет.

— Правда твоя, — согласился бабай.

— А вы молоко свое не бережете, — сказал еще Беспалов, — его холод из коров выдувает...

— Правда твоя, — понял бабай. — У нас догадка в голове не держится: поработал мало-мало закону, и в гости пора — кипяток пить.

Потом бабай показал Беспалову колхозную мельницу и электрическую станцию. Мельница нынче стояла — с нефтяного склада не привезли топлива для двигателя, который вертел мельничный жернов.

— Война пошла, — сказал бабай, — нефти мало дают, на нефти летать нужно.

— У вас ветра много, зачем вам нефть, — указал в ответ Беспалов. — Раньше-то была у вас ветряная мельница?

— Как же, была, — охотно сообщил старик. — Она и теперь стоит на том краю деревни, пауки там в помещении живут. Чего делать на ней! Дай сюда нефти, тут работают хорошо, скоро, и свет в колхозе горит. А там и жернова давно нету...

— Ты старый человек, а глупарь! — сердито и неохотно сказал Беспалов.

— Глупарь! — воскликнул бабай и засмеялся: он еще не слышал такого слова, а он любил слышать неслышанное и видеть невиданное.

Мимо колхозного птичника старик прошел молча: Беспалов увидел только, как стояли на птичьем дворе нахохлившиеся, озябшие куры и спал, зажмурив глаза, молчаливый петух.

— Несутся куры у вас? — спросил Беспалов.

— На дворе прохладно стало, куриная пора прошла, — ответил бабай. — Нет, теперь мало будет яичек.

— Ишь ты! — удивился Беспалов. — Все у вас на нет идет.

— На нет идет! — согласился бабай.

Они вышли снова за околицу, потому что так ближе было идти в избу к бабаю, и увидели небольшое поле с несжатым хлебом. Ветелки ранее густого проса теперь опустели, отощали, иные легко и бесшумно шевелились на ветру, а зерно их обратно пало в землю, и там оно бесплодно созреет или остынет насмерть, напрасно родившись на свет. Беспалов остановился у этого умершего хлеба, осторожно потрогал один пустой стебель, склонился к нему и прошептал ему что-то, словно тот был маленький человек или товарищ.

— Люди-то у вас где же были? — спросил Беспалов у бабая, не обернувшись к нему.

— Люди тут были, товарищ, — ответил старик, оробев вдруг и застыдившись.

— Это ты виноват, — произнес Беспалов. — Ты — старик, ты знаешь порядок — чего глядел?

— Правда твоя, — сказал бабай, — я старик, я виноват, чего глядел. Людей люблю, в гости ходил — я виноват.

И бабай зажмурился от крестьянского стыда, чтобы не видеть перед собой мертвый хлеб, павший в холодную землю.

В избе своей бабай накормил гостя мясными щами и кашей и напоил его чаем с молоком; но гость ел мало, точно он жалел тратить на себя сытное добро, а себя не жалел. Старая жена бабая с уважением смотрела на гостя, как на желанного человека. Ей по душе была его бережливость в еде, потому что этим гость жалел их крестьянский труд, но в то же время ей не нравилось, что гость мало ест, и она упрашивала его есть больше и обижалась, что он не хочет.

Беспалов переночевал у бабая, а наутро чисто прибрал за собой постель, вытер сырость на полу от башмаков и ушел неслышно, ничего не оставив после себя — ни следа, ни соринки, будто его никогда не было в этой избе.

Бабай как проснулся, так сразу же заскучал по своему ушедшему гостю. Он вышел на крыльцо, чтобы поглядеть, не тут ли Беспалов где-либо во дворе; потом обошел деревню и вышел за околицу, на дорогу к станции, но нигде не видно было Беспалова. И старик почувствовал грусть об ушедшем госте, словно его веселое сердце стало вдруг пустым.

«Ничего, он в другом месте сейчас живет; он цел все-таки, пусть живым будет», — подумал бабай и опять повеселел.

Старик отправился на молочную ферму, там был он вчера с Беспаловым. Знакомые добрые коровы по-прежнему находились там и зябли от осеннего ветра, дувшего с обмерших от холода полей.

— Правду сказал Беспалов, — понял бабай, — скотину теперь холодный ветер доит, а доярки остатки берут. Хорошему человеку от ветра тоже обедать два раза нужно: он остужается...

В память друга и для пользы хозяйству бабай пошел в овраг, нарыл там глины в пещере, а потом размешал ее в кадке и подбавил туда немного навозу, чтоб получилось вязущее тесто. Затем старый Ягафар до самого вечера замазывал наглухо щели и прорехи в плетневой огороже коровника, а после работы он постоял еще среди коров; теперь в помещении стало тихо, ветер не входил туда и не выдувал из коров тепло их жизни. Коровы молча смотрели на бабая. Старый человек погладил ближнюю матку, ту самую, которую гладил и Беспалов.

— Мою работу молоком отдашь, — сказал ей бабай, — пускай его красноармейцы с кашей едят.

На второй день Ягафар наточил косу и скосил вручную несжатую полосу погибшего проса. Он решил, что раз хлеб умер, надо хоть половину от него взять: сейчас идет война, зима долгая будет, годится и половина, хоть на крышу для тепла годится.

Старая жена Ягафара радовалась на своего старика.

— Ты добрый стал, — говорила она, — у тебя к нужде и народу сердце теперь прилегло. Ты опомнился теперь. А то вы все на солнце, на дождь да на бабу надеялись. Солнце погрееет, дождь помочит, земля родит, а баба хлеб испечет, а вам останется в гости ходить да разговор балакать.

— Баба немного правду говорит, — рассудил бабай. — Лучше надо было жить, да я не успел жить хорошо — стариком стал. Айда, успею еще, пока не помер!

Он вышел поутру на улицу и увидел председателя колхоза, который шел куда-то, поху-девший от заботы.

— Чего скучаешь? — спросил его бабай. — Жизнь плохая стала?

— Жизнь ничего, — сказал председатель. — Хлеб остался у молотилки, а домолотить его нечем. Машиной нельзя — нефти нет, лошадьми трудно — лошади лес возят на постройку завода, там для войны скоро нужно.

Председатель стоял и думал, и бабай тоже думал, давая волю своей мысли, — пусть она сама вспомнит и скажет ему, как тут нужно быть.

Старая ветряная мельница скрипела от ветра. Бабай поглядел туда, крылья ветряка покачивались, в них была сила, но вертеться они не могли, потому что одно крыло было привяза-

но цепью за кол, вбитый в землю. Та мельница уже давно стояла холостая, она только ветшала от времени и погоды, была приютом для птиц.

— Пускай нам ветер хлеб молотит, — сказал бабай председателю. — Ты собери народ, мы молотилку туда своей силой перевезем. Я тебе с плотником привод налажу от мельничного вала на молотильную машину, а снопы со старого тока пускай хоть вол да две коровы подвезут, там их не большая гора, маленькая.

Председатель записал себе в книжку это мероприятие и согласился. Но пока бабай с плотником ладили привод, пока возили хлеб к машине, ветер обратился в тишину. Однако на другой день ветер поднялся на Уральских горах и подул в Ямауле, и за четыре дня без малого весь хлеб был обмолочен. Хоть старый ветряк молотил много тише, чем нефтяной двигатель или трактор, все же вышло скоро, и ветер ничего не потребовал за работу — только Ягафар смазал дегтем цевки в деревянных мельничных шестернях.

После работы народ ушел по избам, а бабай остался. На порушенные колосья пшеницы исподволь — по одному, по два, по четыре — без суеты, но с разумной скоростью налетали воробьи и большим народом насели на уже опустошенный хлеб, чтобы найти в нем свое пропитание. Тут были и свои, постоянные воробьи, внутриколхозного жительства, которых бабай уже признал, и посторонние, из дальних мест, а затем прибыли певчие птицы — щеглы и синицы.

«Разве они все глупые? — подумал Ягафар. — Если бы они были глупые, они бы не пропитались».

Он пошел по колосьям среди хлопочущих, клюющих птиц, причем один воробей, как послышалось бабаю, злобно пробормотал что-то на человека за помеху, но бабай отогнал прочь сердитого воробья и поднял колос. В этом колосе Ягафар сосчитал два остаточных зерна. Тогда он взял еще колосьев и в каждом нашел немного хлеба — в ином одно зерно, в ином четыре, и только изредка ничего не было.

Бабай поглядел на небо; были поздние сумерки, но небо очищалось ветром от дневных облаков, а ночью землю должен осветить месяц. Птицы, однако, не боялись близкой ночи и яростно кормились.

«У коров учился, теперь у воробьев буду учиться, — сообразил старый Ягафар. — У всех надо!.. У себя только забыл учиться — у своего сердца забыл, но я помню — оно у меня помаленьку болит: это чтоб я не забыл, как надо жить, а как не надо». Он надел приводной ремень на шкив молотилки, и машина пошла в ход от ветра. Бабай взял грабли и подгрел хлеб к подаче на барабан. Хоть одному было трудиться несподручно и неспорно, но Ягафар решил все равно работать, потому что так легче было для его сердца чувствовать себя. По старости лет он не мог вручную и единолично вонзить штык в живое туловище врага, но он желал, чтобы тот красноармеец, которому поручен этот штык, постоянно имел полный живот хлеба и каши и чтобы этот крестьянский хлеб превращался в красноармейскую силу и в смерть мучителя-врага.

Бабай молотил пшеницу в сумерках, а потом и при луне, до самой полуночи, пока не утих ветер и не ослабел ход машины; тогда Ягафар сосчитал намолоченное зерно на глаз и увидел, что он наработал второй молотью уже однажды смолотого хлеба пудов десять. Это было не много, все же достаточно и полезно. Упрятав хлеб в мешки от хищных воробьев, старик пошел на ночлег.

В избе своей бабай застал председателя колхоза. Жена Ягафара угощала его чаем с блинами и загодя уже тосковала по нем, как по сыну: председатель уходил на войну. Он был еще молодой человек, и ему настала пора идти воевать.

— Я без него справлюсь, — сказал Ягафар. — Война сейчас тоже нужна, пусть он туда идет... Мы тут и без печей не окоченеем, а от врагов к нам смерть идет...

— Ишь ты умный, — ответила жена, — а я глупая! Не мне с тобой печь нужна, а в курятник, на птицеферму эту. Стало б там тепло, так куры и в зиму бы неслись, и не я бы с тобой яички кушала, а ему же на войну их послали бы!

Тут Ягафар осерчал и крикнул на жену. Он и сам знал, что в колхозном курятнике нужно печь сложить, у него у самого уже была про то догадка, только он не успел сказать свою мысль.

— Ишь ты наука какая: печки, — рассердился бабай. — Я готовую погляжу да по готовой и новую сделаю.

Но председатель остерег Ягафара.

— Печки, Ягафар, дело великое! — сказал он. — У нас зима долгая: как без печки жить! Ты сделаешь печку такую, что воз соломы сожжешь — и прохладно будет, а умелый человек сложит тебе свою — и от снопа жарко!..

Ягафар одумался: может, это и правда.

— Давай завтра в курятнике печи класть, — порешил он. — Пускай куры и зимой в тепле несутся: теперь харчей на войну много надо. Видать, нам лета одного мало, зимой тоже нужно пищу делать.

И бабай вспомнил здесь Беспалова. Тот тоже думал, что зимой можно рожать пропитание, вдобавок к летнему хлебу, а бабай посчитал его тогда глупым дураком.

Утром Ягафар и председатель начали класть печь в колхозном курятнике, а к ночи сложили ее и оставили на сушку.

Председатель, а вскоре за ним и другие сильные крестьяне — все ушли па войну, и бабай стал в колхозе председателем. Бабай хоть и ко всему привык за долгую жизнь, однако любил почетные, высшие звания и теперь молча утешался тем, что он председатель. Он полагал, что по военному времени это звание равнялось генералу, который командует всей рожаящей силой земли, кормящей армию и согревающей ее.

По зимнему времени бабай решил сажать и растить овощи в теплице. Теплица в колхозе была большая, световые рамы были исправные, только тепла там не хватало. Ягафар рассудил, что жечь солому в теплице — это убыточно, а дров заготовить — лошадей и людей много надо.

«А чем-нибудь можно топить! — задумался старик. — Что-нибудь есть на свете, из чего тепло можно занять, только один я не знаю: голова моя бедна!»

Он оглядел небо и землю, но там теперь повсюду дул холодный, нелюдимый ветер ранней зимы. Если б откуда-нибудь тепло можно было даром добыть, тогда бы и зимой в колхозе ручьем и потоком рожалось молоко, а куры клали яйца и тучный овощ произрастал в обогретой почве. Один хлеб лишь расти зимой не будет, но и хлеб можно родить — не от земли, так от скупости: пусть ни одно зерно не склюет птица, не поест мышь, не тронет порча и не растопит, не просыплет мимо рта труженик-едок, а лодырь совсем не будет жевать. И тогда старый хлеб даст новый урожай.

Воротившись в избу ночевать, бабай спросил у жены:

— Как быть, старуха?.. Мы б и зимой дали с нашего колхоза хлебную поставку — не хлебом, так молоком, яйцом и овощем, да боюсь, тепла неостанет...

— А ты подумай, ты опомнись, ты сердцем расположись, — сказала жена, — может, и узнаешь, как тебе быть.

— Сам от себя я ничего не узнаю, у меня голова мала, — загоревал Ягафар. — А в деревне спросить не у кого: я тут самый ученый остался!.. Хоть бы человек явился к нам: пусть гость, пусть разбойник, я бы спросил у пего.

Сказав это, бабай вздохнул и лег спать. Но среди ночи он проснулся, потому что жена отворила дверь неизвестному гостю. Засветив свет, Ягафар увидел, что это пришел Беспалов.

— Здравствуй, генерал Бабай! — произнес гость. Ягафар поднялся навстречу хорошему человеку.

— Здравствуй, товарищ Беспалов... Иди к нам в деревню скорей, пожалуйста! Садись сюда, нам думать с тобой надо... Как там война идет, долго еще будет или мало-мало и — конец?

— Война до последнего хлеба будет, бабай, — ответил Беспалов. Он поставил свой сундук возле двери и сел на пол, чтобы переобуть ноги.

— До последнего хлеба! — в размышлении сказал Ягафар. — А у нас не будет последнего хлеба, у нас всегда запас в остатке будет...

— Тогда мы победим, — сказал Беспалов. — Надо, чтобы пока старый хлеб в запасе еще лежит, а уж новый ему на подмогу рос...

— Надо, надо, — согласился Ягафар. — Нам все надо, и нам все мало будет, это правда твоя. Нам теперь тепло надо, тогда мы и зимой в колхозе будем овощ растить, курица яйцо будет нести, корова молока много даст...

— Это все тоже хлеб, — сказал Беспалов.

— Тоже хлеб, — рассудил бабай. — Лодырю и жулику хлеба не давать — нам тоже будет урожай...

Старуха бабая развела огонь на печной загнетке и поставила воду в горшке.

Ягафар оделся, чтобы приветливо встретить гостя, накормить его и напоить кипятком.

Но Беспалов отказался от угощения.

— Некогда, — сказал он, — день и ночь идет война, день и ночь надо работать. Пойдем со мной, бабай!

Беспалов взял свой сундучок и пошел наружу, и Ягафар отправился вслед за ним.

Они прибыли на колхозную электрическую станцию. Там Ягафар зажег фонарь «летучая мышь», а Беспалов достал инструмент из своего сундучка и начал раскреплять динамо-машину от фундамента.

На рассвете Беспалов и Ягафар погрузили машину в сани и своей силой отвезли груз на старую ветряную мельницу.

На ветряной мельнице Беспалов остался работать один, а Ягафару он велел заботиться по колхозному хозяйству.

Сначала Беспалов установил на старых брусках динамо-машину и наладил привод на нее от вала ветряка. Потом он пошел на бывшую электрическую станцию, чтобы снять оттуда провода и устроить передачу тока от ветряной мельницы в общую сельскую сеть.

До вечера трудился Беспалов, а на другой день с утра он собрал по колхозу триста двадцать электрических ламп и приноровил их, чтобы они работали теперь для обогрева. Для этого Беспалов установил их рядами в деревянных ящиках, а в каждом ящике он устроил отверстия для входа холодного и выхода теплого воздуха. Два ящика, по шестьдесят ламп в одном ящике, Беспалов поместил в коровнике, а еще сто ламп он заключил в два других ящика и поместил их в курятнике; последние же сто ламп он установил на одной доске в теплице, не покрыв их ящиком, потому что свет наравне с теплом не вреден для овощей.

Ягафар был доволен, но сам Беспалов чувствовал сомнение — хватит ли ветра, ветер хотя и часто дует в Ямауле, однако не вечно. Беспалов боялся, что будет много тихих морозных дней.

Тогда Ягафар вспомнил свою жизнь и погоду за полвека и сказал Беспалову.

— Тихого мороза не будет. Его мало будет. У нас ветры и бураны всю жизнь дуют, мы тут посреди земли живем: ветру кругом просторно. А тихо будет — мы печи затопим.

Беспалов ушел пускать в ход ветряк и электрическую машину, а Ягафар сел в коровнике возле ящика, в котором были лампы, положил руки на отверстия ящика и стал ожидать — пойдет оттуда тепло или его не будет?

Он сидел долго в ожидании, ветер на дворе дул со слабой силой, и Ягафару казалось, что никогда не может из холодного ветра родиться тепло.

Бабай вздохнул с огорчением, что редко сбываются надежды человека, а затем улыбнулся, потому что ладони его рук почувствовали жаркое тепло, начавшее палить из ящика.

Бабай заглянул в отверстие ящика, увидел в нем сияющий дрожащий свет и захохотал от радости.

— Ты дурак, бабай, — сказал он в поучение самому себе. — Солнце гоняет ветер по земле, — значит, в нем сила солнца есть. Из ветра обратно можно тепло брать, — значит, можно зимой овощ рожать, яйцо, молоко и масло много давать... Я тут буду глядеть, чтобы у нас не дошло до последнего хлеба, я тоже буду мало-мало красноармеец по хлебному делу!

НА ГОРЫНЬ-РЕКЕ

Идет дорога на запад, река Горынь течет. Река течет утомленным потоком, она почти не замерзала в нынешнюю зиму и не отдохнула подо льдом. По дороге вперед идут люди инженерно-саперного батальона гвардии инженер-капитана Климента Кузьмича Еремеева. Эти люди редко отдыхают: они либо работают, либо движутся в пути, и сон их всегда краток, но глубок.

Река Горынь то приближалась к грунтовому тракту, то отходила от него в отдаление, а потом опять долго шла неразлучно рядом с шагающими по тракту людьми.

Солдаты шли молча. Земля дорог въелась в их серые, сумрачные лица, и полевой ветер всех времен года обдувал их, так что солдаты стали терпеливы и равнодушны ко всякой невзгоде. Но глаза их, обыкновенные и спокойные, имели то особое выражение, которое бывает лишь во взгляде солдата. Это выражение означает, быть может, то знание жизни, которое дается лишь страданием, войной и чувством много раз приближавшейся к человеку смерти.

Солдат знает и то, что знают все мирные люди. Но, кроме того, ему известно высшее знание, неведомое другому, кто не бывал солдатом. Солдат заработал свое высшее знание в испытаниях, когда смерть уже касалась его сердца или когда страшный долгий труд до костей изнашивал его тело. И это великое, терпеливое знание, в котором одним швом соединены и глубокое понимание ценности жизни и смерть во имя народа, как лучшее последнее дело жизни простого истинного человека, это знание тайными чертами запечатлевается в облике каждого воина, послушного своему народу.

Рядом с капитаном Еремеевым шел гвардии сержант Загоруйко. У него было то же обличье солдата, общее всем; однако, судя по его низкому, усадистому, прочному туловищу и по сытному, довольному лицу, ему война шла на пользу и впрок. А может быть, он чувствовал счастливое удовлетворение от сознания того, что именно ему пришлось в упор бороться, начиная с первого дня войны, с врагом и мучителем человечества и что он не оставит злодейские силы на земле в наследство своим детям.

На ночь батальон остановился в жилой слободке у дороги. В этой слободке должна быть связь, о чем имелись сведения у капитана Еремеева. Капитан хотел получить по связи обстановку и приказы о дальнейшем движении и деятельности своего батальона. Ему было заранее назначено связаться из этого пункта с начальником штаба бригады. Но капитану ничего не удалось узнать у связистов, потому что линия связи была нарушена.

Никаких тыловых частей в слободе не было, и сведений о противнике и о расположении наших передовых частей не у кого было спросить. Капитан знал, что при быстром стремлении вперед, при маневренной войне, когда движущиеся части словно вращаются по большим дугам и кругам, в пространстве образуются иногда пустые мешки, или ничейные земли, и это обстоятельство немного тревожило его.

Еремеев вышел на околицу слободы. Солнце зашло за синие увалы, и лунный кроткий свет озарил цинковые крыши слободы. Капитан сверился с картой. Впереди по дороге, километрах в четырех, находилось еще одно населенное место, но неизвестно, кто там был — противник или мы. А далее, за тем поселением, Горынь-река пересекала дорогу, и никакого моста, по сведениям командира, там теперь не было: его взорвали немцы.

Капитан снова пошел на пункт связи. Двое связистов отправились на линию искать повреждение, а третий сидел один в безмолвной, пустой хате.

Капитан крикнул к себе сержанта Загоруйко и, показав ему по карте место, велел взять с собою двух бойцов и проведать, кто там находится, в той слободке, что лежит далее впереди, у реки Горынь.

— Там-то? — задумался Загоруйко. — А там ничто, товарищ капитан, там пустой промежуток.

— Пойди разведай, тогда будет точно, — сказал капитан, — может, там есть еще остаток неприятеля.

— Едва ли, товарищ капитан. Немец держится кучно. А тут он в откат пошел, и бить тут нам некого.

— А ну, давай делай! — приказал капитан. — Нам, должно быть, работать тут придется, а на работе я люблю, чтоб саперу был покой и чтобы пули его не касались...

Загоруйко ушел с бойцами в ночь на разведку и после полуночи возвратился обратно. Он доложил своему командиру, что действительно так оно и есть; в той слободке было в гарнизоне немного неприятеля — всего семь человек; они находились в двух хатах и все пали в тихом бою с нашими саперами, в рукопашной битве.

— Шуметь мы опасались, — доложил Загоруйко. — Неясно было, сколько их есть. Немец теперь, стало быть, тоже может и некучно держаться — это он от нас научился. У нас-то что же, у нас и один боец по нужде иль по обстановке войском бывает!

— Надо бы языка взять, — произнес капитан. — Нам неизвестно, что тут в окрестности.

— А один был язык, но в дороге он помер, — сообщил сержант. — Он хотел что-то сказать важное, да не поспел. Я ему дал кусок сухаря, он стал его жевать, но ослабел и умер с нашим хлебом во рту. Видно, мои ребята повредили его нечаянно в бою.

— Зря, — сказал Еремеев, — надо, чтоб он жил.

— Я его к дисциплине призывал, товарищ капитан, а он «капут» сказал и кончился досрочно. Плохой был солдат, жить не мог.

Капитан велел сержанту спать, а сам пошел проверить посты боевого охранения. Потом он проведал связистов и узнал, что связь появилась на минуту и опять исчезла.

Капитан Еремеев хотел было послать верхового нарочного в штаб бригады, но раздумал — хозяйство бригады тоже движется вперед, и не сразу нарочный его отыщет, а время уйдет напрасно, весь его батальон будет бездействовать.

Однако мост через Горынь-реку не миновать строить, потому что здешний большак далее, на немецкой стороне, срастался с шоссеиной магистралью и здесь должны пойти потоком наши части усиления, резервы и обозы.

Капитан взял лошадь и поехал с ординарцем, сорокалетним Лукою Семеновичем, на Горынь.

— Лука Семенович, с утра мост будем класть на Горыни, — сказал капитан.

— А чего тут вожжаться-то: отделался, и вперед пора! — согласился Лука Семенович. — Нам надо и работать и воевать к спеху: небось минута времени войны народу целый миллион стоит, не считая того, что и в людях потеря, и на душе тоска...

Луку Семеновича любили в батальоне и звали всегда полным именем-отчеством. Любость он заслужил трезвостью своего разума и спокойствием характера. Дополнительно к тому всем нравилась его чесаная, большая, ласковая борода. Иные тоже пробовали отрастить себе такую же бороду, но у них того не выходило, что у Луки Семеновича. «Борода — это целое хозяйство, — говорил Лука Семенович, — она вроде полеводства, тут не только усердие, тут и знание науки нужно».

— Тебе поплотничать придется, Лука Семенович, — сказал Еремеев.

— А чего же, товарищ капитан, Климент Кузьмич, — плотничать что пахать — святое дело. Да и работа все же скорее пойдет, когда хоть один человек в помощь.

Поздняя, высокая луна озарила своим мирным, словно шепчущим, светом парной, мерцающий воздух над рекой Горынью. Капитан и Лука Семенович остановили коней у самого бе-

регового уреза воды. Капитан измерил на глаз ширину реки: оказалось не более шестидесяти метров; стало быть, работа будет не очень ёмкая; противоположный берег был немного выше, но зато почва там, значит, прочнее и суше. Капитан стал соображать, как выгоднее становить мост, и без внимания глядел на другой берег реки.

Там вспыхнул и повторился несколько раз резкий, раздраженный красный огонь, посторонний для этой тихой лунной ночи и чуждый всей мирной земле. Еремеев, отвлекшись мыслью об утренней работе, не сразу догадался, что это означает.

— Назад, товарищ капитан! — сказал ординарец и ударил по крупу лошадь командира, а потом тронул свою. — Там немец ночует...

Четыре тяжелых пулемета враз открыли огонь по всадникам, и лошадь Еремеева опустилась под ним замертво.

Тогда Лука Семенович перехватил командира с седла, взволков его на свою лошадь и, усадив впереди себя, дал ход понимающему резвому коню. Тут же ординарец отвернул коня с дороги и въехал в темное устье балки, впадающей в речную долину. По дороге еще били пулеметы противника, но в балке было мирное затишье.

— Эх вы, дешевка! — сказал Лука Семенович о своих врагах. — Мы им чуть не на самые расчеты наехали, а они из нас четырех одно только существо повредили...

— Ты не глядел там, Лука Семенович, какой лес возле слободы растет?

— Сосна, товарищ капитан, она гожая в дело... Наутро Еремеев приказал батальону начать работу по постройке моста через Горынь-реку и до темна, в восемнадцать ноль-ноль, закончить мост и открыть по нему движение.

«Как раз тебе ноль-ноль и будет вместо моста, — молча размышлял Лука Семенович. — За рекою же немцы еще стоят, сам же их чувствовал, а говорит «ноль-ноль»...

Перед работой капитан Еремеев сказал двум выстроенным ротам, отряженным на дело, свое напутствие:

— Товарищи гвардейцы! Сегодня мы построим наш двадцать первый мост. От Северного Донца до Горыни мы построили их двадцать, и были ничего мосты. Вы сами видите — здесь добрая земля, ей хлеб надо рожать, но нет по ней пути вперед. Наш саперный генерал говорит, что сейчас одна дорога, дорога и мост решают дело нашей победы. Без дороги и моста не доберешься до врага, не поразишь его насмерть, как нужно делать. Сейчас мы свой двадцать первый мост начнем строить сразу с двух берегов...

«Неужели у командира упущенье в разуме появилось? — с печалью думал Лука Семенович. — Ранее того никогда не было».

— Загоруйко! — крикнул командир. — И ты, Лука Семенович! А ну, ко мне! Лука Семенович, позови старшего лейтенанта, командира нашей третьей роты...

Через час времени два взвода саперов с гранатами за пазухой, чтобы их не вымочить, и автоматами в руках брели почти по грудь по липкому, всасывающему морю черной земли.

Иногда солдатам хотелось броситься вплавь, — может, думали они, тогда легче будет. Их вел сам командир батальона Еремеев. Он хотел выйти к Горыни выше того места, где будет строиться мост, чтобы зайти фашистам с тыла на том берегу и уничтожить неприятеля как помеху в работе.

В реку Горынь, не меряя ее, капитан вошел первым, и после пути по сосущей бездне полей ему показалось легко и чисто идти в светлом речном потоке, и он отдохнул, переходя реку вброд. Бойцы его тоже вздохнули свободней в воде и обмыли одежду на себе. Глубины тут нигде не было более как по горло, и плыть никому не пришлось.

На другом берегу саперы опять вошли в густую теснину влажного чернозема и скоро вспотели в труде своего движения, хотя их обдувал унылый сырой ветер бесснежной зимы.

Выйдя на дорогу, капитан повернул оба взвода обратно, приказал им рассредоточиться по степи и штурмовать пулеметные точки немцев. Сам же он вместе с Загоруйко и Лукою Семеновичем пошел прямо по дороге.

— Скорее надо действовать! — торопил Еремеев. — Скорее, говорю, чтоб наших ребят в работе там не задерживать!

— Сейчас, сейчас, товарищ капитан! — говорил Лука Семенович. — Сейчас управимся. Саперу что бой! Для сапера бой одно упреждение его работы, вроде предисловия к чтению по книге.

Один немецкий пулемет, стоявший в земляном гнезде у дороги, дал короткую прицельную очередь. Капитан и его спутники залегли в грязь возле дороги. Потом Загоруйко, не дымаясь, начал вращаться телом по земле и двигаться вперед, не утопая в черной пучине. Лука Семенович принялся действовать подобно Загоруйко, но все же он не поспевал за ним в скорости, а может, он оберегал бороду от нечистоты.

Капитан стал наблюдать с места за ходом дела. Все четыре немецких пулемета давали время от времени короткие очереди. Неприятель, должно быть, не понимал, что пред ним происходит. Еремеев увидел, как мгновенно приподнялся с земли Загоруйко и умелой, точной рабочей рукой метнул гранату по сверкающему пламенем пулемету. Все саперы тотчас же открыли автоматный огонь, наступила решающая минута неизвестности, как бывает во всяком бою, а затем стало сразу тихо, и бой окончился. Оставшиеся немцы в маскировочных полосатых куртках вышли наружу с поднятыми руками. Огонь еще был в их оружии, но духа веры в их сердцах уже не было.

К тому времени к Горынь-реке саперы Еремеева уже подвозили сваи, бывшие в запасе в батальонном обозе.

Капитан и Лука Семенович вышли к реке с немецкой стороны и увидели свои подводы. «Ни в чем пока упущения нету, — отрадно подумал Лука Семенович, — у нас командир большой офицер: он и в бою умен и в работе догадлив».

Во всякой работе для солдата есть воспоминание о мирной жизни, и поэтому он трудится со старанием и чувством любви, словно пишет домой письмо. Капитан Еремеев знал это солдатское свойство.

Саперы понимали такое слово своего командира и строили одинаково истово и прочно и большой мост и малую переправу. И теперь они, как и прежде, вошли в холодный поток реки и стали заправлять сваи в подводный глубокий, заматерелый грунт.

Загоруйко устроился на подмостьях и бил бабкой по свае для первой ее усадки в верхнюю мякоть грунта. Лука Семенович доводил рубанком маломерные бревна для ездового настила моста. Он любил дерево, и, работая, обращая дерево в изделие, он думал, что рождает из него живое полезное подобие человека, будь то мост, или дом, или просто житейская утварь. Азербайджанец Музаферов, работавший до войны крепильщиком в Донбассе, готовил предмостье. Он работал землю, трамбуя подходы к мосту. Горы земли, которую ему подвозили на грузовиках и подводах, он превращал в правильный, плотный профиль дороги. Музаферов не жалел себя. Его большое, мощное тело двигалось точно и скоро, и его руки на виду создавали из беспорядочной земли новый маленький мир.

«Гвардеец! — подумал о Музаферове капитан Еремеев, наблюдая его. — Хорошо бы, если б моя мысль работала так же ладно, как мускулы Музаферова».

Еремеев за свою жизнь построил около сотни мостов. Теперь он заботился более всего о скорости работы, и по ночам, в бессонные часы, и под огнем врага он думал одну и ту же думу, воодушевляющую его, — о том, как расставить людей на линии работы, чтобы один торопил другого ходом своего труда, как наладить предварительную разведку полезных ископаемых и подручных материалов в районе строительства и заранее заготовить их, когда это бывает возможно. Он хотел довести скорость строительства шестидесятитонного деревянного моста до десяти погонных метров в час.

В два часа пополудни к Еремееву пришел связист с местного промежуточного узла и доложил, что связь восстановлена и на имя капитана получена телеграмма. Еремеев прочитал телеграмму — это был приказ о постройке моста через Горынь-реку в шестнадцатичасовой срок; мост должен быть готов к шести часам утра следующего дня.

Еремеев написал в ответ, что мост будет готов к пропуску транспорта сегодня в восемнадцать часов — через четыре часа, и связист ушел.

Помполит лейтенант Демьянов обратился к командиру с предложением, что сегодня вечером нужно провести беседы по ротам.

— Это важно, — сказал Еремеев. — Но лучше отсрочим беседу на завтра. Сегодня вечером сон и отдых для бойцов будет для них всей политработой. А сейчас нужно, чтобы на кухне приготовили и дали каждому прямо на мост по куску горячего мяса с хлебом и по сто граммов водки. Ты пойдешь распорядись, товарищ Демьянов, и сам посмотри, чтоб исполнено было исправно.

— Есть! — сказал лейтенант.

Без четверти в восемнадцать часов к мосту подъехал «виллис» с двумя офицерами танковых войск.

— Как мост, товарищ гвардии инженер-капитан? — спросили они у Еремеева.

— Стружки с верхнего настила не убраны, товарищ гвардии майор! — ответил капитан.

— Ничего, в них наши машины не увязнут, капитан.

Через час к мосту на проход подошел танковый корпус. Командир корпуса генерал-майор вышел из автомобиля и, стоя на мосту, пропускал все свои машины, пока не прошла последняя.

Затем он обратился к Еремееву, находившемуся возле него:

— Благодарю вас, гвардии инженер-капитан. Я, сознаюсь вам, не ожидал, что вы справитесь с работой. Вы выиграли для нас времени целую ночь, мне теперь легче выиграть сражение. Спасибо, гвардеец!

Генерал поцеловал капитана, сел в машину и исчез в сумраке ночи.

ПОЛОТНЯНАЯ РУБАХА

Дело было во время войны. Я лежал в госпитале, в просторной горнице деревенского дома, а дом тот стоял на берегу озера, недалеко от Минска. Рядом со мною лежал раненый танкист, старшина Иван Фирсович Силин. Он был ранен в грудь навывлет; наружный воздух, как ему казалось, проникал в него через рану до самого сердца, и Силин постоянно зябнул. Первые дни Иван Силин лежал в лихорадочном бреду или в дремотном забытии и говорил со мною мало. Он спросил у меня только, чей я сам и откуда родом, — и умолк. Должно быть, Силин хотел узнать, не земляк ли я ему, не дальний ли родственник. Это ему нужно было знать на случай своей смерти, чтобы я, вернувшись на родину, рассказал там о Силине его семейным и близким людям. Однако я родился далеко от Силина.

— Нет, ты не тот! — вздохнул Силин.

— Не тот, — сказал я.

Через неделю Ивану Фирсовичу стало лучше; дышать он начал свободнее, и смертная синюха сошла с его лица. Теперь он уже более походил на самого себя, и я увидел его серые глаза, заблестевшие жизненной силой, и широкое, рябое, доброе лицо, мягкое, как пашня.

— Ты не спишь? — спросил он у меня.

— Нет. А что?

— Так. Умирать неохота.

— А мы не будем.

— Будем-то будем, — сказал Иван Силин, — как не будем? Да не скоро.

— Ну и что ж! — ответил я ему. — Если не скоро — это не беда.

— Беда! Как не беда! — сказал Силин. — Я никогда не хочу помирать! Сто лет проживу — не захочу, и ты не захочешь.

— Я бы лет в сто шестьдесят пожалуй бы захотел.

— Врешь. Опять бы прибавки попросил, опять бы капли пил и пульс считал.

— Кто ее знает...

— Как — кто ее знает? — рассерчал Иван Фирсович. — Да я знаю! Мне вот мать, родная моя мать, умирать никогда не велела! И чего со мной не было, — из другого бы давно весь дух вышел, и из меня выходил, — сколько раз я кровью весь исходил, да напоследок сожмусь в последний остаток, разгневаюсь весь, сберегу одну живую каплю крови и от нее опять согреюсь и отдышусь. И вот живу и буду жить, хоть огонь прошел меня насквозь и две дырки в легких оставил, дышать трудно, холодно мне дышать...

И Силин рассказал про свою жизнь, что с ним было.

— Я начал помнить жизнь с того утра, как я проснулся, прижавшись к матери. Я всегда спал рядом с матерью, у нас была в комнате одна железная кровать, и еще деревянный стол, и две табуретки. Отца у меня не было, он умер давно, я его совсем не помню. Остались мы с матерью двое на свете и стали жить. Это было еще до революции, я тогда родился. Жили мы так бедно, как во сне теперь может присниться: у нас ничего не было, ничего не хватало — ни хлеба с картошкой, ни дров в зиму, ни керосину для света, ни одежды никакой, и хозяин дома из комнаты гнал — за то, что матери нечем было платить за комнату, рубль в месяц. Мать работала поденщицей, она делала всякую работу, что люди ей давали, — белье стирала, полы мыла, дрова колола, возле умирающих сидела, как бы вот при нас с тобой... Она за все бралась, лишь бы меня чем было кормить, лишь бы меня вырастить, а самой потом умереть. Разве можно было жить в той злостной жизни! Рассерчать надо было, прогневаться всем народом, — да это случилось позже, а мы тогда мучились... А, да не о том я все рассказываю! Я тебе про сердце свое хочу рассказать, что оно чувствовало. Много говорить мне некогда, дыхания не хватит... От голода я рос тихо, долго был маленьким. И помню, как я горевал, как плакал, когда мать уходила на работу, до вечера я тосковал по ней и плакал. И где бы я ни был, я всегда скорее бежал домой, со сверстниками-ребятишками я играл недолго — скучать начинал; за хлебом в лавку пойду, обратно тоже бегу и от хлеба куска не отщипну, весь хлеб целым приносил. А вечером мне было счастье. Мать укладывала меня спать и сама ложилась рядом; она всегда была усталая и не могла со мною сидеть и разговаривать. И я спал, я сладко спал, прижавшись к матери; это было мое время. Никого и ничего у меня не было на свете, все было чужим вокруг нас; не было у меня ни одной игрушки; помню какой-то пустой пузырек, его я нашел во дворе, и еще обглоданную сломанную деревянную ложку, я не играл ими, а держал их в руках, перекидывал их и думал что-то. Была у меня только одна родная мать. И к ней я прижимался, я целовал ее нательную рубаху и гладил рубаху рукою, я всю жизнь помню ее теплый запах, этот запах для меня самое чистое, самое волнующее благоухание... Ты этого, наверно, не понимаешь?

— Нет, — ответил я. — Моя мать умерла при моих родах, я ничего о ней не знаю, и отца не помню.

— Это плохо... Тебе плохо! — сказал Иван Фирсович. — Кто ни отца, ни матери не помнит, тот и солдатом редко бывает хорошим, я это замечал...

Он отдышался раненой, больной грудью и опять заговорил о своей жизни:

— Утром мать подымалась рано, а я держался за ее рубаху и не отпускал от себя. Мать жалела меня, и чтобы я не скучал по ней, когда ее нету, она отдала мне свою нательную рубаху, а она у нее была одна. И когда мне было страшно или скучно, я прижимал к себе материнскую рубаху и целовал ее, — тогда я словно чувствовал мать около себя, и мне бывало легче. Рубаха матери сшита из полотна, сколько я ни теребил ее, а она все цела... Незадолго до Октябрьской революции, мне было лет девять-десять, мать моя умерла. Она заболела воспалением легких; теплой одежды у нее не было, сентябрь стоял холодный, и она умерла. Перед смертью она тосковала и целовала меня, — она все боялась оставить меня одного на свете, она боялась, что меня затопчут люди, что я погибну без нее и меня даже не заметит никто. Умирая, она велела мне жить. Она обняла меня, а другую руку подняла на кого-то, будто защищая меня, — да только рука ее тут же опустилась от слабости.

«А ты живи, ты живи — не бойся! — говорила она мне. — Побей, кто тебя ударит. Живи долго, живи за меня, за нас всех, не умирай никогда, я тебя люблю». Она отвернулась к стене и умерла сердитой; она, должно быть, знала, что жизнь у нее отнята насильно, но я тогда ничего этого не знал, я только запомнил все, как было. И с тех пор я всю жизнь храню при себе полотняную рубашу моей бедной, мертвой, вечной моей матери. Рубаша уже почти истлела, а цела еще, и в ней я всегда чувствую мать, в ней она бережется для меня...

Без матери я бы, наверно, погиб и давно бы умер, но тогда в мир пришел Ленин, началась революция. Я уже был мальчиком, потом юношей, я научился понимать жизнь. Ленин для меня, круглого сироты, стал отцом и матерью, я почувствовал издали, что я нужен ему, — это я, который никому был не нужен и брошен, — и отдал ему все свое сердце, отдал навсегда — до могилы и после могилы. Что ж мать, — она умерла, а мне велела жить, и жить сильно, гневно против зла. Но зачем было мне жить, этого мать не сказала. Это сказал мне Ленин, и во мне тогда, в ранней юности, засветилось сердце, мне явилась мысль, и я стал счастливым... Вот слушай дальше. Если ты хочешь знать, в Ленине для меня будто снова воскресла мать, и для меня он больше, чем мать, — ведь мать была только несчастной женщиной, мученицей, умершей в рабстве, а Ленин! — знаешь ли ты, кем был и есть Ленин?

— Знаю, — сказал я.

— Не знаешь! — произнес Иван Силин. — И вот я жил и жил, и воздуха для жизни становилось все больше и больше, как и для всех людей в нашей рабочей стране... А изредка я доставал старую полотняную материнскую рубашу и целовал ее, тогда боль воспоминания о матери огнем проходила во мне; однако я чувствовал, что мать словно все более далеко и год от году все дальше уходила от меня, но я все еще видел ее в своей памяти; она не звала меня за собой и была довольна, что я живу, как она велела, но я понял, что как только она уйдет далеко-далеко, когда я уже не разгляжу ее в своем воспоминании, тогда я и сам умру, только это будет не скоро, — может быть, никогда этого не будет, потому что мертвые матери тоже любят нас: она опять станет ближе ко мне... Во время войны я хранил материнскую рубашу у себя на груди, за пазухой; сейчас только она у меня под подушкой... Ты вот не знаешь, ты не поймешь, как легко бывает умереть, как умираешь с жадностью и с ясной мыслью, когда идешь на смерть под знаменем родины, и родина эта живет в твоём сердце, как истина, как Ленин, и ты прижимаешь ее к себе, как бедную рубашу дорогой матери... А все-таки жалко бывает перед смертью этой прелести и сказочности жизни! Ты этого не поймешь, ты едва ли жертвовал собою...

— Я это понимаю, — ответил я.

— Не понимаешь, — сказал Силин, — и не поймешь!.. Вот со мной как было, — ты слышал о Проне-реке?

— Слышал.

— Мы форсировали Проню как раз в утро самой короткой ночи: значит, это было двадцать второго июня сорок четвертого года. Всю ночь работала наша авиация, на рассвете ударила артиллерия, потом пошли мы. Вот перешли мы рубеж, Проню эту реку, идем вперед, вошли в полосу прорыва, я веду машину, башнер бьет по целям, — бой идет нормально. И время в том бою скоро прошло, мы воевали прилежно. Вдруг командир машины мне: боекомплект весь, огонь нечем вести. А из боя нас не выводят, задача все еще решается, противник хоть и дрогнул и отходит, а живой. Приказа выходить из боя нет — мы идем в преследование. Веду я машину и вижу плоховатый кое-как огороженный, но живой дзот противника, бьет оттуда тяжелый пулемет, я живьем вижу струю огня, вижу, как пулеметчик стволы водит в щелевом зазоре. И я знаю, куда он бьет, — по нашей пехоте. А в пехоте идут такие же дети Ленина, как я, и у них были матери, также завещавшие им жить долго и вечно. Но где же вечно, когда их сечет сейчас огонь насмерть? Я закрыл глаза и открыл их; я почему-то подумал, — может, пулемет противника прекратит огонь в эту минуту, может, ствол у него перегреется или наши в него влепят. А пулемет бьет, а у нас огня нету. Командир мне: видишь, дескать, положение! Я ему: вижу! Страшно нам и стыдно стало. Командир, а ну! И я понял его, он подумал одинаково,

что я, в крайнем чувстве люди похожи. Я повернул машину — и прямо на дзот, раздавлю его сейчас! И опять я вижу их пулемет: он работает огнем в упор, в грудь нашей пехоты, и наши цепи залегают. Тут злоба во мне стала сильной и увлекательной, будто вся жизнь в ней. От той злобы я стал весь как богатырь... Я тронул рукою свою грудь, там, глубоко под комбинезоном, хранилась рубашка моей матери. «Мама, думаю, видишь!» — и наехал машиной на врага. Машина просела в бревна, в грунт, это я еще помню и помню, как сразу со всех оборотов отрезало мотор, — потом я не помню себя. А очнувшись, я понял, что вышло: дзот мы раздавили со всей его начинкой, но сами тоже подорвались. Я опробовал себя, — чувствую, остался целым, контузило маленько, голова болит, из носа кровь. Эх, думаю, и не сгорел я, не велела мне мать умирать, я и не буду. И тут же вспомнил: а вдруг меня заклинило в машине, не выберусь! Нет, выбрался... — Силин умолк.

— И все? — спросил я.

— Не все, нету. Откуда же все? Сейчас отдышусь...

— И я чувствую — не все!

— А чего ты чувствуешь! — сказал Силин. — Зря ты чувствуешь, ты же не знаешь, что было со мной... Выбрался-то я выбрался, да у машины и залег: противник повел сильный огонь. Навдалеке, так обок машины, гляжу, лежит командир моей машины и с ним наш башенный стрелок Николай Верзий; они вели огонь из личного оружия. Я огляделся и сообразил: противник нас контратакует, дело ясное. Я хотел перебежками приблизиться к своему командиру. Приподнялся я чуть-чуть, и сразу ожгло меня. В груди стало тепло, потом пусто и прохладно, я приник обратно к земле, слабый, как сонный. И два немца из земли бросаются на меня, — земля изрыта кругом, кто и близко, не видно того, — бросаются они на меня... И в тот же момент были они — и нету их, пали они оба на землю. Сразил их кто-то, наш боец, и не слышно было, чем сразил; встал он надо мной и говорит: живи, брат, — а сам далее в бой ушел. После видели того бойца и другие, он отличился, говорят; я спрашивал о нем, когда меня в госпиталь эвакуировали, да говорили о нем разное; бой ведь скоро забывается — один так расскажет, другой иначе. Сказали мне его имя, но опять неправильно, никто на такую фамилию не отзывается. Ты не слыхал про такого: Вермишельник Демон, или Демьян, что ль, Иванович?

— Слыхал, — сказал я. — Его зовут Карусельников Демьян Иванович.

— Вот так вернее, — согласился Иван Фирсович. — А то Демона придумали!.. А где он сейчас, не знаешь?

— Знаю.

— Жив он?

— Живой.

— Где он, не знаешь?

— Он тут, — сказал я. — Демьян Карусельников.

— Где?.. Ты, что ль? Едва ли!

— Так точно, старшина, это я.

— А непохож! — сказал Силин. — Ты не похож на того, хоть я его и не разглядел, не помню совсем... Вот как оно вышло! А ведь ты говорил — у тебя не было ни отца, ни матери, что ты безотцовщина...

— Материнской рубашки у меня не было за пазухой... А родина у меня есть и Ленин есть, как у тебя. От них, сам видишь, и ты жив и я цел. Стало быть, и я не безотцовщина.

ВНУТРИ НЕМЦА

— Что с нами стало сейчас? Отчего наши солдаты отступают, что происходит внутри немца? — спрашивает немецкий инвалид нынешней войны Карл Диц в письме к своему брату на Восточный фронт.

Ответ на первый вопрос Карла Дица явствует из его инвалидности. Но он имеет в виду не одного себя, а всех пемецких солдат. Ответим ему: с немцами и с Карлом Дицем стало то, что сделала с ними Красная Армия. Много немцев сейчас, военных и гражданских, и много людей других национальностей задают себе тот же вопрос, что и Карл Диц: что стало с немцами, что происходит внутри немца?

Правильное, объективное понимание того, что происходит «внутри» противника, — в его духе, в его сознании, в мотивах его поведения, в его надеждах, — имеет большое военное значение, наравне с данными разведки.

Мы имеем сейчас основания и возможность посмотреть внутрь неприятеля. Нас интересует тот процесс в психологии противника, который происходит в нем под влиянием поражения на Восточном фронте, под давлением советского и союзного оружия.

Этот процесс поворота в немецком сознании можно наблюдать и в непосредственной форме, в форме писем или поведения немцев, и в форме более скрытой — в директивных документах официальной идеологии и всюду, где сила действительности с жестокостью рока меняет мысли, поведение и обычаи людей, вразумляя им спасение или, если они уже неспособны к разумению, толкая их к гибели.

Невеста пишет из Берлина своему жениху, обер-лейтенанту Георгу Винек (пол. почта 40841): «Ты не представляешь, мой любимый, сколько страданий и мук нам приносит эта война. Все лучшее от нас уходит» (23/II 1944 г.).

Немка уверяет обер-лейтенанта, что даже ему, непосредственно сражающемуся на фронте, все же нужно представить ужасную участь людей в тылу. Жизнь в немецком тылу по степени смертельной опасности теперь мало отличается от существования на фронте. В этом немке можно поверить. Страдания и муки, о которых она пишет, затягиваясь во времени и умножаясь в количестве, производят в германском народе «тихую» массовую смерть, и постепенно дело идет к тому, что цивилизованному немцу жить будет еще опаснее, чем солдату. Причина этой опасности заключается не только в бомбах с воздуха; здесь действует прогрессирующее истощение физических и моральных сил «завоевателей мира», которое может привести целый народ в оцепенелое состояние — внешне покорное и как бы послушное тиранической воле его «фюрера», но на самом деле уже бессильное, таящее в себе смертельный шок, массовую гибель. Поверхностным поводом для гибели может стать какая-либо пустяковая болезнь или общий невроз, но истинные, глубокие причины этого явления действуют уже сейчас. Немка сообщает: «Все лучшее от нас уходит». Эта фраза, исполненная печали и некоторого раздумья, неточна: все лучшее от немцев ушло давно, а что не ушло, то было уничтожено. Это имеет для немцев огромные, трагические последствия: без лучших людей не только нельзя спастись, но даже невозможно перед смертью придумать в утешение какой-либо «сон золотой», последний эффектный обман уцелевших еще остатков народа.

Душевный механизм немца, каков бы он ни был, сламывается и начинает действовать для устроителей этого механизма столь же неожиданно, как винтовка, стреляющая себе в затылок. Пленный унтер-офицер 8 батальона 85 пех. полка рассказал 26 марта 1944 года, что он недавно сам видел в г. Вупертале. Пленный шел тогда по улице в этом Вупертале и вдруг замечает, что с высоты третьего этажа начал быстро снижаться большой портрет Гитлера. Человек, производивший эту операцию снижения, весело кричал сверху: «Внимание — фюрер идет!» За миг свободы и своеволия этот человек, вероятно, отдал затем жизнь. Но одновременно с такими действиями немцев охватывает апатия и бессильный фатализм. «Многие люди в Германии, — заявляют пленные, — относятся к воздушным налетам как явлению природы». А как же им иначе осталось относиться к этому, — можно только, склонив голову, ожидать бомбу. Времена Ковентри, времена бомбежек старух и детей на русских дорогах навсегда прошли.

Офицер по национал-социалистическому воспитанию (есть такая должность) 198 пех. див. старший лейтенант Мюллер трактует в одном документе новую и самую злободневную немецко-фашистскую философию. В этой философии, которую, несомненно, питает

отчаяние, скрываемое, однако, авторами ее даже от самих себя, — в этой философии кратко выражены последние безумные надежды фашистских властителей, их последняя фантастическая мечта.

«Великие оружейники нашего века, — говорится в документе, — могут стать вершителями судеб». Далее излагается некоторое чаяние, что хорошо бы и нужно бы, дескать, изобрести такое оружие, которое сразу бы и мгновенно поразило всех врагов Германии: вот тогда бы немцы победили и выиграли войну, а без такого чудесного оружия воевать им, немцам, трудно. Немцы при этом всерьез надеются изобрести такое оружие и наброситься с ним в первую очередь на Англию, чтобы она их больше не обижала с воздуха.

Ясно, что тут мы имеем дело с новым средством для обмана своего народа (мы, дескать, скоро откуем такой меч, которым нам удастся все же обезглавить мир и завоевать его, — потерпите только, немцы, еще немного), но, кроме того, этот документ сам по себе является доказательством идиотизма фашистских идеологических деятелей и выражением их презрения к немцам, как народу дураков.

В средние века в той же Германии были алхимики, которые в своем наивном невежестве пытались срочно добыть золото или эликсир вечной жизни из каких-либо дешевых подручных материалов. Был и такой «деятель науки», который хотел освободить солнце из огурца. Но это были сравнительно невинные люди.

Развитие реальной опытной науки, в которой прямо или косвенно принимало участие несколько поколений человечества, открыло единственно доступный путь к истине, благу и могуществу трудящихся людей, объединенных в своих усилиях и надеждах. По этому пути до сих пор идет прогрессивное человечество во главе со своим авангардом — Советским Союзом.

Но для нынешних немцев-фашистов опыт всемирной человеческой истории — ничто. Им сейчас срочно нужно изобрести всемогущее оружие, иначе у них нет шансов победить. Глупость этой алхимической надежды очевидна, но из этой глупости врага мы можем сделать для себя один разумный, полезный вывод — о близкой духовной катастрофе противника. Никакое крупное научное открытие или техническое изобретение нельзя теперь совершить кустарным, магическим способом. Наука и техника коллективны и всемирны по своей сущности; наука может совершить «чудо», но только в сотрудничестве со всем прогрессивным миром, а не вопреки этому сотрудничеству, не в одиночестве и не «впереди прогресса».

В том же фашистском документе в скрытой и внешне пышной форме далее говорится нечто еще более идиотическое: «Подчинение техники организующей воле является последней большой задачей, перед которой стоит западная культура». В переводе на простой, конкретный язык это означает, что если Гитлер скажет (а он это, видимо, уже сказал, и сказал не однажды), что ему нужно чудодейственное оружие, то, стало быть, наука мгновенно должна подчиниться «организующей воле» Гитлера и тут же создать такое смертоносное оружие, от которого все свободные народы земли падут замертво в прах. Невежда может, конечно, давать своим запуганным техникам такие поручения, но выполнить их нельзя. Все лучшее, что было когда-то в Германии, теперь от них ушло; то, что не успело уйти, то умерщвлено или обездушено до степени идиотизма. Немецкая земля обесположена господством тиранов; в ней не осталось сил не только на большое творческое дело, но даже на то, чтобы создать в грамотной форме свою последнюю, предсмертную мечту. Этого, видимо, и нельзя сделать, как нельзя изобразить палача героем, если бы этим даже занялся одаренный художник. Есть невозможное на свете; иногда оно является добром, потому что кладет предел злу.

Гитлер ждет, что из той земли, которую он обратил в камень, для него вырастут плоды. Но гитлеровская земля годна теперь лишь для постройки склепа своему «фюреру». Тот, кто хотел утратить мир, кто отверг науку, ныне сам наполнил немецкий народ ужасом и безумием и сам ищет спасения у «великих оружейников», у науки, чтобы она дала в руки тирана всемогущий меч.

Однако этот всемогущий меч могут создать и владеть им другие руки, которые равно способны и одухотворять мир трудом и сражать тиранов. Гитлеровцам же остается в утешение лишь бредовая фантазмагория о «всемогущем оружии»; как бесплодная женщина видит в сновидениях своего ребенка, а наяву ей остается лишь сознание своего бессилия.

Действующая армия 1944 г.

ПУСТОДУШИЕ

На окраине сожженного, взорванного Воронежа нетленно и нерушимо стоит единственное сбереженное фашистами, полностью сохранившееся здание — старая тюрьма о сорока трубах на крыше. В пригородных слободах под прахом жилищ гниют трупы умерщвленных и погибших стариков, старух и детей, не смогших по своей слабости или не успевших покинуть город. Люди же рабочих возрастов давно уведены в немецкую работу, пока они там не износятся до самых костей и тогда тоже умрут.

Одна лишь тюрьма стоит живой и целой в погибшем городе, называвшемся некогда «младшим Петербургом» — в память деятельности Петра Первого, строившего здесь азовский флот.

Тюрьма, мертвецы вблизи от нее и рабы в немецкой стороне являются тремя видами судьбы, которую немцы желали и желают уготовить для русского народа, считая эту судьбу естественной для него и заслуженной им.

Быть узником, быть мертвым или быть кратковременно живущим рабом — таковы три немецких завета для нас. Их можно сократить до одного завета — смерть: меж тюрьмой, могилкой и рабством мало разницы. Однако разница все же есть: каторжный раб — это отсроченный покойник, и для фашистов он является полезным мертвецом. Немцы хорошо понимают эту разницу и скупое, до последней сукровицы, отбирают силы у своего раба, пока не отдаст он им своего предсмертного вздоха...

Против воронежской тюрьмы на пустыре, в бурьяне сохранились остатки жилища и лежит мертвое дерево. Возле дерева сидела утомленная женщина с тем обычным для нашего времени человеческим лицом, на котором отчаяние от своей долговременности уже выглядело как кротость. Она выкладывала из мешка домашние вещи — все уцелевшее ее добро, без чего нельзя жить. Ее сын, мальчик лет восьми-девяти, ползал меж лопухов и крапивы в золе сгоревшего дома, в котором он жил недавно. Мальчик был одет в одну рубашку и босой, живот его вздулся от травяной, бесхлебной пищи; он тщательно и усердно рассматривал какие-то предметы в золе, а потом клал их обратно или показывал и дарил матери. Его хозяйственная озабоченность, серьезность и терпеливая печаль, не уменьшая прелести его детского лица, выражали собою ту простую и откровенную тайну жизни, которую мы сами от себя скрывали, а теперь, видя отражение ее на лице ребенка, нам делалось совестно и страшно. Эти совесть и страх имеют основание существовать, потому что в них есть сознание вины за судьбу обездоленного ребенка, которого мы не могли сберечь вовремя от руки врага.

— Мама, а это нам нужно, такое? — спросил мальчик. Мать поглядела; ребенок показал ей гирю от часов-ходиков.

— Такое не нужно — куда оно годится! — сказала мать. — Другое ищи...

Ребенок усиленно разрывал горелую землю, желая поскорее найти знакомые, родные вещи и обрадовать ими мать. Он нашел спекшуюся пуговицу, протянул ее матери и спросил:

— Мама, а какие фашисты?

Он посмотрел округ себя — на пустырь, на хромого солдата, идущего с котомкой с войны, на скучное поле вдали, безлюдное, без коров.

— Немцы, — сказала мать, — они пустодушные, сынок... Ступай щепок собери, я тебе картошку испеку, потом кипяток будем пить...

— А ты зачем отцовы валенки на картошку сменяла? — спросил сын у матери. — Ты хлеб теперь задаром на эвакуопункте получаешь, нам картошек не надо, мы обойдемся... Отец и так умер, ему плохо теперь, а ты рубашку его променяла и валенки...

Мать промолчала, стерпев укоризну сына.

— А отчего немцы пустодушные? — спросил он снова. — Они не евши?..

— Они-то не евши? — они кормятся ничего, — объяснила мать. — Чего им не евши жить!.. Они за свои грехи чужую кровь проливают, оттого и пустодушные.

— А мы какие? — узнавал ребенок.

— А мы — нет. Мы сами свою кровь проливаем и сами свое горе терпим. Мы, когда грешны, свой грех на другого не валим.

— Мама, а где фашист, какой отца убил? — его убила Красная Армия?

— Может, и жив еще...

— Он мало будет жив, — задумался мальчик. — Его потом все равно убьют... А мертвых доктор не лечит?

— Нет, сынок. Доктора их лечить не умеют.

Мальчик умолк в своей думе, но потом он нашел себе утешение:

— А пусть отец опять рождается и живет маленьким сначала, тогда он не будет мертвым. Мама, ты роди его, ты ведь меня родила... Нужно, чтоб люди были, а то их нету...

Я издали слушал эту беседу. Мать и ее сын были моими дальними родственниками, поэтому я остановился вблизи от них; я хотел разглядеть их и убедиться, что я не обознался.

Позже мы ходили с мальчиком собирать щепки и горелое дерево для огня и затем варили картофельную похлебку на малом костре посреди нагого пустыря.

Ближе к вечеру мы втроем сделали одно дело — мы покрыли кровлей из ветвей одну земляную щель, чтобы там было укромное жилище для ночлега в ненастье.

Утром другого дня мы все пошли на кладбище. Моя родственница сказала, что там она четыре дня назад похоронила своего мужа. Сил у нее было мало, поэтому она неглубоко рыла сверху чью-то могилу и положила туда тело мужа, укрыв его землей на покой.

Женщина и ее сын пришли к могиле проведать своего мертвого. Они опустились на колени у места погребения и стали молча смотреть в землю. У женщины вышли из глаз тихие редкие слезы, и трудная печаль овладела ею, словно горе ее могло быть искуплением жизни перед лицом умершего. И я понял тогда, что втайне каждый живой чувствует греховный стыд перед умершими — за то, что те лишены жизни, а живущий имеет ее.

Однако постепенно вдова успокоилась, потому что стала уже привыкать к своему страданию, и привычка служила ей облегчением; горе, говорят, бывает каменным, оно неподвижно, и живущее существо способно исподволь, обманно обходить его.

Усопший лежал неглубоко под нами, и из земли явственно шел запах его тела, смешавшегося с почвой. Женщина глубоко дышала этим воздухом, в котором были частицы тела любимого ею человека, довольная уже тем, что хоть таким образом она общается с ним и чувствует его близость. У нее не могло быть отвращения к покойному; она даже боялась того, что скоро уже не ощутит его тления, когда он вовсе смешается с прахом. Кто не поймет ее чувства или кем овладеет брезгливость, тот не знает простых свойств человеческой природы, и брезгливая осторожность отделяет того от мира и его понимания.

— Давай, мама, откопаем папу! — сказал сын матери. — Пусть он дома лежит. У нас дом тоже теперь в земле...

Мать увела сына от отца. Мертвый остался опять один в земле.

Женщина считала себя виноватой, что не сумела забрать с собою мужа, когда немцы захватывали Воронеж. Муж ее был хромым на ногу, он ходил на костылях и не мог самостоятельно уйти, а мать управилась унести только ребенка и мешок с домашним добром. Она искала тележку, чтобы спасти мужа, она давала за два колеса золотые часы, но стоимость колес тогда равнялась жизни, и тележки она не нашла.

Вернувшись потом в мертвый город, женщина нашла обгорелый труп своего мужа среди других умерщвленных людей. Враги, согласно своему расчетливому муравьиному разуму, умертвили всех оставшихся стариков, старух и калек, дабы они не могли есть пищу, раз малосильны для работы. Убитых враги складывали в сараи, чтобы потом закопать их; но сараи погорели, и обгорелые мертвецы остались лежать снаружи. Своего мужа моя родственница отыскала на пустыре в слободе Чижевке; он лежал возле истлевшей старухи, ссохшейся и оземлевшей вовсе...

— Дядя, а кто фашисты? — внимательно спросил у меня сын убитого.

Я понял, о чем спросил меня ребенок. Он хотел знать тайну того человека, который лишил жизни его отца. Я ответил, что завтра поеду на войну, там увижу фашиста и там узнаю, кто он такой.

— А ты приведи его к нам!

— Зачем он тебе? — спросил я у сироты. — Ты убить его хочешь?

Мальчик со странной грустью поглядел на меня.

— Нет... Пусть он сперва отца нам отдаст. А потом он пусть сам умрет в землю...

У ребенка было правильное желание.

— Фашист только убивать умеет, — объяснил я ему, — а мертвых он не умеет живым отдавать.

— А кто умеет? — спросил сирота. — А зачем он тогда умеет убивать?

Неосуществленная истина была в словах ребенка. Он размышлял, что убивать людей может лишь тот, кто умеет их рожать или возвращать обратно к жизни. В нем жила еще первоначальная непорочность человечества, унаследованная из родника его предков.

— После войны я приду к вам жить навсегда, — необдуманно, однако истинно, пообещал я матери и мальчику-сироте. — Мы будем тогда вместе и построим дом сначала, как было у вас.

Мать и сын промолчали мне в ответ. Они знали уже, как не сбываются обещания и как часто на путях надежды человека ожидают страдания...

Недели через две, будучи на фронте, я по роду своей службы опрашивал немцев, пленных и перебежчиков. Один пленный, Курт Фосс, оказался очень интересным существом; если он лгал, то ложь его все же была ближе к правде, чем та истина, которую он скрывал для спасения себя.

Передо мной был лейтенант пехотной службы, человек лет тридцати, несколько истощенный на вид, но спокойный до равнодушия, точно он был вполне удовлетворен своей судьбой или верил в неугасимость своей счастливой звезды. Это мне не понравилось в пленнике. Однако я привык терпеливо изучать всяких людей и умел подавлять свое личное чувство к ним.

На том участке, где был захвачен Курт Фосс, недавно произошло событие, в которого было явлено высшее для человеческого сердца терпение русского солдата. Два наших разведчика были обнаружены немцами возле своего переднего края. Одного из них вскоре засыпало землей, и он замер под ней. Другой же начал отбиваться от неприятеля огнем автомата, но не отбил: его поранило, он обессилел, и двое здоровых немцев напали на него врукопашную. Тогда наш разведчик, слабея от раны, но чувствуя свою жизнь еще целой, притворился умершим. Немцы быстро опробовали его тело и поверили, что человек мертв. Но все же для убедительности немцы дважды подкололи нашего бойца кинжалами в его грудную клетку. Наш солдат без вдоха стерпел свое мучение и остался на видимость без признака жизни. Враги тогда достоверно поняли, что человек убит и бездушен. Бормоча друг другу свои слова, они стали действовать дальше. Один из них отрезал лезвием своего кинжала, наостренным до жгучести, ухо нашему бойцу по самую мочку. Потом, подумав и отдохнув, он отрезал русскому солдату и второе ухо, а другой немец пронзил кинжалом нос нашего бойца. Русский лежал пред врагом навзничь, сократив в себе дыхание почти до смерти, холодея в своей теплой крови и храня остаток жизни в последнем тайнике своего сердца, лишь бы не подарить ее такому

неприятелю, который, убив живого человека, казнит затем мертвого. Враг показался нашему казнимому бойцу столь постыдным и неприятным, что русскому солдату захотелось потерпеть и пожить еще хоть немного: он боялся, что без него с фашистами как следует не расправятся, потому что никто так не почувствовал врага, как он, умирающий, живущий при смерти и медленно казнимый...

Наша резервная группа отогнала этих двух немцев и унесла с поля боя обоих наших разведчиков; засыпанный землей отдышался и возвратился в строй без повреждения, а израненный, замученный боец лежит сейчас в госпитале.

Я спросил у Курта Фосса — известен ли ему этот случай?

— О, да! О, да! — охотно ответил Фосс.

Я спросил — кто, по мнению немца, в этой маленькой битве троих показал более высокие воинские и человеческие качества, если идти на сравнение.

— Ясно, — сказал Фосс — Наши солдаты вышли из схватки без царапины. Ваш солдат — раненый, его победили, он может умереть. Это ясно.

Он ценил ясность, считая ее истиной.

— Почему ваши солдаты мучили мертвого? Ведь они не знали, что наш солдат был живой.

— Они не знали, — сказал Фосс, — наш солдат доверчивый... Это был тренаж. Наш солдат должен знать, как не бояться человека. Он должен убивать его раз, потом два раза, пока его не будет. Нам нужна гарантия, что противника нет. Наш солдат учится управлять русским противником. После победы он будет администратор.

— Что же такое вам тренаж на теле мертвых? — вы готовите из ваших солдат палачей?

— Администраторов, — объяснил Фосс. — В администраторе должен быть немного палач, это кость власти. Нам это ясно, это практически. Тела человека не надо бояться: в нем физика, химия, теплота, холод — ничего не страшно. Оно машинка.

— В таком случае — немец тоже машинка. В чем же тогда смысл войны? Зачем вы воюете и хотите победы? Не все ли равно, какая машинка останется, а какая сломается.

— Не понимаете! — сказал Фосс. — Немецкая машинка лучше. Зачем нужны плохие? У вас горит электричество, а не свечка: электричество лучше.

— Почему же немецкая машинка лучше всех?

— Вам сейчас будет ясно. Немцы берут вашу землю, а не вы у нас берете.

— После войны это будет еще яснее, — сказал я врагу, смущаясь такой поверхностной ясности.

— Ваша часть прежде была где-то под Воронежем? — спросил я, обратившись к своим бумагам.

— В самом Воронеже, — уточнил Фосс.

— Вы там умертвили наше гражданское население...

— Это было рационально, — сознался Фосс. — Мы не могли пассивно тратить пищевые калории. Вам теперь тоже не надо кормить в Воронеже стариков-старух...

— А у вас есть старая мать?

Фосс вздрогнул; я нашел в нем человеческое качество.

— Не беспокойтесь о ней, — пообещал я противнику. — Наш маршал сказал — мы воюем с вашей армией, с вашим государством, а не с вашими родителями.

— Он так сказал? — обрадовался Фосс; он верил в начальство.

В этом Курте Фоссе была какая-то часть человека, но не весь человек; он был подобен телу о двух измерениях: оно не может существовать; и Фосс не мог бы существовать, если бы не находил свою временную, мучительную устойчивость в войне, в истреблении людей, не подобных себе. Они уничтожили как раз то, чего им самим недоставало и без чего они погибнут неминуемо, если даже оставить их в покое.

Он не допускал в жизни тайны и глубины, которая бывает темной и смутной, нужно напрягать зрение и сердце, чтобы разглядеть истину во тьме и вдали. Для него все было известно, ясно, и мир, где он был еще затемнен, нуждался только в германской рациональности и четкости, когда «плохие машинки» будут обслуживать «хорошие машинки».

Я сказал ему, что человек имеет больше свойств, чем полагает Фосс: у человека столько свойств, сколько граней в окружности. Фосс вовсе не понял меня; он вообще едва ли понимал какое-либо другое существо; его научили, и он сам был склонен к такой науке — не понимать, а уничтожать непонятное и тем решать задачу. Я ему не мог объяснить, что только за гранью себя, за чертою «ясного и понятного», может начинаться нечто значительное. Животные, не понимая, глубоко и верно ощущают разнообразие, глубину и важность природы; этот же человек, кроме себя и себе подобного, все остальное считал излишним, вредным, глупым и враждебным.

— Мы — критика чистого разума, вооруженного огнем, — сказал мне Фосс, вспомнив чужую фразу.

— Чистый разум есть идиотство, — отрезал я ему. — Он не проверяется действительностью, поэтому он и «чистый» — он есть чистая ложь и пустодушие...

Я теперь понял Фосса как интеллектуального идиота; этот человеческий образ существует давно, он был и до фашизма, но тогда он не был государством.

В комнату вошла моя помощница, лейтенант административной службы Нина Подгорова, — большая, добрая и наивная молодая женщина, прекрасная, как явление природы.

Смутный страх прошел по лицу Курта Фосса. Он всмотрелся в вошедшую женщину, исследовал все, что зримо на ней, и сжался в угрюмом равнодушии. Ему чужда и непонятна была открытая теплая одушевленность вошедшей женщины, и он не любовался ею, как можно любоваться небом или растением, а угрюмо сожалел, что она сейчас недоступна ему для господства и наслаждения.

Я потерял всякий интерес к пленному Курту Фоссу и приказал Подгоровой увести его.

Затем я подумал о мальчике, который живет сейчас с матерью в Воронеже в земляной щели. Возможно, что этот Фосс и командовал той истребительной или комендантской ротой, которая расстреляла отца того мальчика. Для ребенка фашист — убийца отца — был таинственным, даже значительным существом; ребенок воображал его в соответствии со своей одаренной душой, тогда как о фашисте и помыслить интересного нечего, его можно только уничтожить и забыть.

Я задумался о судьбе оставленного мною в Воронеже ребенка. Враждебные, смертельно угрожающие силы сделали его жизнь похожей на рост слабой ветви, зачавшейся в камне, где-нибудь на скале над пустынным и темным морем. Ее рвет ветер и смывают штормовые волны, но ветвь должна противостоять гибели и одновременно разрушать камень своими живыми, еще неокрепшими корнями, чтобы питаться из самой его скудости, расти и усиливаться, — другого спасения ей нет. Эта слабая ветвь должна вытерпеть и преодолеть и ветер, и волны, и камень: она — единственное живое, а все остальное — мертвое, и когда-нибудь ее обильные, разросшиеся листья наполнят шумом пустой воздух мира, и буря в них станет песней.

ДЕД-СОЛДАТ

Дед долго жил на свете и так привык жить, что забыл о смерти и никогда не собирался помирать. Все его дети и родные давно померли, остался один последний внук, девятилетний сирота Алеша.

— Дедушка, ты живешь? — спрашивал Алеша и смотрел на деда с удивлением, точно он не был уверен, что все это есть взаправду — и он сам и дед.

— Живу, — медленно говорил дед. — Жить, Алеша, сроду не отвыкнешь. Да мне жалиться не на что, — только смерть, должно быть, просчитала меня: всех до малости сосчита-

ла, а на меня одного ошиблась. Я мимо счета прошел, так и остался теперь жить навеки, вам, малолетним, на помощь...

Алеша глядел на деда, старого, согнутого, волосатого, но живого; у деда уж и волосы на голове и в бороде из белых стали бурыми, и глаза его были пустого цвета, как вода, а он все жил.

— И я живу, — задумчиво произносил Алоша. — Давай обед готовить, а то есть пора. Ты ведь жил долго, ты ел много, а я мало.

Дед со внуком жили в курене на большом колхозном огороде. Дед сторожил овощи, ухаживал за рассадой, следил за погодой, измерял и записывал, сколько было дождя и вёдра, а внук был при нем и учился у деда жизни и работе.

Наевшись кулешу с луком и салом, дед, как обыкновенно, положил еще к себе в карман штанов краюшку хлеба в запас и пошел с Алешей на пруд, куда спускалась огородная земля.

— Пойдем, мне надобно тело плотины поглядеть, — говорил дед, и они шли к плотине. Плотину эту из глины и земли сложила полвека назад крестьянская артель, в которой работал еще отец деда и сам дед. Плотина стояла в сохранности до сей поры; она пережила и великие ливни и нагорные потоки вешних вод, но бури ее не развеяли и воды не размывали, потому что плотину строили умелые крестьянские руки, привыкшие к земле и любящие ее.

Дед и Алеша остановились на гребне плотины, над лоном смиренной воды, в которой отражалось сейчас летнее теплое небо вместе с плывущими по нему облаками и пролетающими птицами.

Дед медленно осмотрел всю природу по всей округе и вздохнул:

— Привык я тут.

— А зачем ты привык? — спросил его Алеша.

Дед помолчал немного.

— Жить привык... Ишь ты, как у нас тут. Сверху небо, — снизу земля, а мы, стало быть, в промежутке — и там и тут.

Алеша присел на корточки у самого уреза воды, доходившей почти до гребня плотины; недавно прошли густые дожди, и пруд наполнился доверху. В синей глубине озера росла подводная трава, и ослабевшее в воде, тихое солнце, как луна, освещало там неподвижные стебли темных и худых былинки.

— Ей там скучно живется, — решил Алеша о подводной траве.

Он вспомнил, что все живущее под водой называется подводным царством. Об этом он слышал, как читали вслух из книги в избе-читальне. И Алеша решил стать самым главным в подводном царстве ихнего пруда и считать все это царство своим, чтобы всем былинкам в воде и каждому, кто там живет и шевелится, не было больше скучно.

— Я теперь буду главный у вас, — сказал Алеша вслух над водой. — Вы подводное царство, а я у вас председатель сельсовета. Потом я вырасту, заработаю трудовни и куплю велосипед...

Председатель сельсовета в Алешиной деревне имел велосипед, он крутил его ногами в брезентовых сапогах и ездил, куда надо по делам. Алеша тоже подумал, что ему нужно иметь велосипед, чтобы ездить по делам подводных рыб, былинки и пауков, а то без него им плохо будет.

Затем дед позвал Алешу к себе, и они сели вдвоем на сухом откосе плотины, откуда далеко были видны небо, земля и вся природа.

— Что там? — спросил дед, задремавший на земле после кулеша.

— Ничего нету, — сказал Алеша. — На небе белое облако, на земле сидит один воробей; он, должно быть, тоже старичок.

— Пусть так будет, — произнес дед. — Я думал — там другое что... У нас в турецкую кампанию знаешь что было...

Дед засопел и уснул, а потом вдруг сказал среди сна:

— У нас в турецкую кампанию, стою я одна на посту...

Дед умолк, он теперь спал. Алеша согнал муху с его лица и спросил у деда:

— Турецкая... Ты всегда говоришь — турецкая. Какая теперь турецкая?

— Ого-го-го! — захохотал дед во сне. — Турецкая кампания ты знаешь что...

— А где турецкая, ее нету, — произнес Алеша.

— Теперь нету, — согласился дед. — Теперь кампания воздушная, ерманская, шпионская, подводная, загробная, для человека никуда не годная... Они думают сделать нам трынчик, чтоб мы хряпнули, но мы им сами дадим поперек.

Дед сказал и уснул. Алеша тоже сморился и закрыл глаза. И в дремоте ему стало хорошо — оттого, что у него теперь есть свое подводное царство, где живут сейчас травяные былинки и маленькие, умные пауки и головастики, где ползают добрые черви и плавают тихие рыбы карпы, — и все это теперь принадлежит Алеше и он должен постоянно думать о своем подводном царстве и беречь его; он ведь один теперь там главный председатель сельсовета, и если его не будет, то все там умрут.

Очнувшись, Алеша увидел, что времени до вечера еще много, что шел еще долгий летний день и по-прежнему светило над ним теплое небо, пахнущее рожью и цветами, а дед спал и дышал во сне. Он лежал на сухом откосе плотины, в своей любимой траве-лебеде; далее плотина спускалась вниз, в широкую балку, и там на низкой глинистой земле росли лопухи, репейники и жесткие, сухие кустарники. Там никого никогда не было, и только одни зеленые толстые мухи и осы скучно жужжали.

Алеша вынул из штанов у деда краюшку хлеба, раскрыл ее и посеял с плотины хлебные крошки в воду.

— Кормитесь, — сказал он подводному царству. — Теперь я у вас кормилец и председатель, а вы рожайтесь и живите. И я у вас буду считаться отцом, чтоб вы не были как сироты, — произнес Алеша вдобавок.

Рыбы карпы вышли к поверхности воды и стали обжевывать более крупные комочки хлеба, а мелкие они сглатывали сразу. Алеша смотрел с утешением на это питание рыб и думал обо всем пруде как о своем государстве.

Покормив жителей своего государства, Алеша отправился по берегу, чтобы оглядеть весь пруд и проведать лягушек и жаб на мелком месте.

А дед один остался спать на земле; но вскоре он отчего-то проснулся — не то в воздухе прошумело что-то и разбудило его, не то он выспался сам по себе. Он сел в недоумении и поцарапал большим ногтем грунт в теле плотины.

— Ишь ты, — обрадовался дед, — костяная стала, полвека стоит. И еще век простоят. Да ведь народ ее строил и мы с отцом — никто другой: оттого и прочно. Народ, он всегда норовит навек все сделать и смерть обсчитать, — так у него и выходит.

Дед поглядел вниз по заросшей балке — в лопухи и кустарники. Там стояло теперь постороннее темное тело — большое и горячее, так что даже при свете солнца видно было, как из него выходил в воздух дрожащий жар.

— Уморилась, видать, машина, — сказал дед. — В турецкую кампанию у нас пот шел из-под казенной рубашки, а тут жар из железа... Вон война какая теперь стала. Да что ж, время идет, люди умнеют, харчи дорожают... Наши, что ль, это прибыли аль чужие?..

Дед пошел к прибывшему железному танку, чтобы глянуть, кто там есть внутри его. Алеша был далеко на берегу; он не видел, как из сухого устья балки к плотине вышел танк.

Возле большой машины, окрашенной в земляной цвет, сидел чуждый человек в ненашей одежде и ел из горсти сухарь, сберегая каждую крошку. Чужой солдат был грязен и слабосилен на вид; он скучно посмотрел на деда и сказал:

— Лапша!

— Лапши хочешь? — спросил дед. — Лапша у нас есть.

Дед подумал: «Сейчас, что ль, пополам его перешибить иль подождать?» — и подошел близко к немцу.

— Ши с капустой и каша с маслом! — сказал дед.

— Зуп, говядина! — сказал немец.

— И это можно! — ответил дед. — А сколько порций нужно? Там у тебя кто? — дед указал немцу на горячую машину, из которой что-то капало и шипело потихоньку.

Немец встал; на боку у него висел револьвер. «Ишь ты, — заметил дед, — считается с нами — порожняком боится ходить». Немец постучал в железо кулаком и сказал туда свои слова. Оттуда ему ответили два голоса — невнятно, как во сне. «Два, — решил дед, — считай, что четыре, этот пятый: меньше не должно быть — машина дюже грузна, меньше пятерых с ней не управятся. У нас в турецкую кампанию как штык, так человек, а тут враз не поймешь — сколько их в этой железной коробке. Пять да машина шестая, а я один. Ну что ж, справлюсь, помирать сейчас все равно некогда».

Немец вынул револьвер, ткнул деда в спину дулом и опять сказал:

— Лапша, зуп, говядина!

— Ты не тычь, я сам русский солдат! — осерчал дед. — И не поминай про лапшу по дважды — я с однова разу угощать умею!

Дед пошел, за ним шагал враг с револьвером в руке. «Дожился, — думал дед в огорчении. — По своей земле как чужой иду, родился от матери, а помру от немца!» Он обернулся к неприятелю:

— Когда народ-то убивать начнете — сразу иль потом, поевши?

— Лапша, лапша, говядина, — говорил немец и торопил старика.

— Ага, поевши, — догадался старый дед. Они взошли на плотину.

— Эту землю мы всем народом сложили, — указал дед немцу. — И я тут с отцом силу клал. А теперь, видал, прелесть какая стала — природа, озеро, рыба, воздух легкий, и народ окрест кормится. Уж полвека тут так стало, а была пустошь, овраг, ничего не было...

Немец сумрачно поглядел на прохладное озеро, сиявшее на солнце, ему было все равно — хорошо тут или худо, он хотел поскорее наестся лапши.

Алеша увидел с берега пруда, что его деда чужой человек повел убивать, и побежал им вослед. Он бежал и чувствовал свое сердце, бившееся вслух от своей силы и от близости страшного врага.

— Дедушка, дедушка! — закричал Алеша. — Ты его не бойся, я тут. Это неприятель.

Дед обернулся на внука:

— Какой он неприятель? Он фашист Ай-Гитлер! Неприятели раньше были, они были в крымскую, в турецкую кампанию... А это просто так себе, одна гадюка...

— А ты убей его! — сказал Алеша.

— Обожди, не спеши, — ответил дед. — Война — это ум, а не уличная драка.

В курене дед достал котелок с остатком кулеша, отрезал ломоть хлеба и вытер деревянную ложку пучком травы.

Фашист сел у входа в курень на овчину деда, положил револьвер возле себя и протянул руку за ложкой.

— Потерпишь! — упредил его дед. — Вы за что ж на нас осерчали-то, к чему войной пошли?

Немец сказал что-то, поднял револьвер и наставил его на деда.

— Эк ты дурной, неученый какой, — произнес дед. — Меня сама смерть не берет, а ты взять хочешь.

Своей сухой, костяной крестьянской рукой дед враз ударил немца поперек его руки, в которой тот держал револьвер, и немец уронил оружие. Затем дед припал к врагу, обхватил его и прижал его навзничь к земле. Немец сначала притих под дедом, а потом жалобно забормотал.

— Сам теперь видишь, что я привычней тебя ко всякой работе, — сказал дед и, оставив немца лежащим, поднял револьвер и положил его себе в штаны.

Алеша стоял возле куреня; он только что хотел тоже броситься на неприятеля, на помощь деду, но не успел — дед один управился.

— Дедушка, я тоже хочу дать ему! — сказал Алеша.

— Теперь уж нельзя, — ответил дед, — теперь он пленный человек.

Дед подал деревянную ложку пленному врагу и поднес к нему поближе котелок с кулешом.

Смирившийся пленник подвинул к себе котелок и стал есть из него полной ложкой, поглядывая в долгое русское поле задумавшимися глазами...

Дед достал из куреня железную тяпку и дал ее Алеше.

— Ступай на плотину, — приказал он, — и продолби в ней бороздку, чтоб вода поперек пошла.

— А зачем? — спросил Алеша.

— Там увидишь — зачем.

— А плотина твердая, она закаменела вся, — ты сам говорил, она полвека стоит, об нее тяпка согнется.

— Иди долби, тебе говорят, — осерчал дед. — Пускай она хоть железная будет, а ты ее все равно продолби, а вода ее сама вослед тебе порушит и пойдет потоком.

Алеша положил тяпку на плечо и пошел, решив, что он теперь на войне красноармеец, а дед — командир.

С плотины он увидел угрюмую чужую машину, стоявшую в зарослях сухой балки, и догадался, зачем надо раздолбить в плотине протоку.

— Мы их смоём потоком! — обрадовался Алеша и начал долбить тяпкой тяжелую, застарелую землю.

Он работал и думал, что скоро вся вода уйдет вон и помрут все жители его подводного милого царства. Ему было жалко рыб, лягушек и траву, но они вместе с водой бросятся на врагов всех людей — фашистов.

— Красная Армия лучше всего — она лучше подводного царства, — сказал Алеша, разрушая тяпкой землю плотины. — Она не боится ни смерти, ни фашистов, ничего. И вы не бойтесь, и я тоже не боюсь, тогда мы будем жить! Мы после войны все вместе опять соберемся...

Из немецкого танка на плотину смотрела немая короткая пушка.

Время шло на вечер, но жара, скопившаяся за долгий день, устоялась на земле и жгла тело под жалящий зуд толстых травяных мух.

Алеша работал скоро. Порушив грунт тяпкой, он выгребал его наружу руками и снова бил железом вглубь. Он измучился, но терпел свою муку потому, что на войне надо уметь терпеть все, даже смерть.

Добравшись до воды, Алеша перестал работать и подождал, что теперь будет. По узкой борозде, продолбленной им в слежавшемся грунте, из пруда пошел водяной ручей. И этот слабый ручей начал своей живой силой рушить землю дальше — он уносил ее вон, резал плотину поперек все глубже и шире и превращался в поток, потому что ручей рождался из большого озера, и озеро все целиком стремилось войти в узкое его русло. Спокойная вода стала теперь яростной силой, и тихий пруд шумел в потоке.

Ручей все более расширялся, он обваливал землю на своих берегах и уносил ее прочь в мутной воде. Алеша пошел от страха к деду в курень. Но в курене деда не было; пленник тоже куда-то ушел или, может быть, одолел деда, а сам убежал.

Алеша видел из куреня воду в пруде, она помаленьку убывала и отходила от старого берега. Алеша томился в ожидании, затем, чтобы скорее прошло страшное время, он лег на дедовскую жаркую овчину и задремал в усталости.

Его разбудил выстрел из пушки. Алеша сразу опомнился и побежал к плотине.

Плотины уже не было; ее размывала вода, и пруд ушел. От плотины осталось лишь одно ее плечо, упиравшееся в материнскую землю. На этом возвышенном плече стоял дед с револьве-

ром в руке и глядел вниз по балке, где раньше было сухое место. Сухую балку теперь занесло илом и сырой землей из пруда.

Из этого сырого, вязкого наноса была видна одна только башня немецкого танка с пушкой, а весь танк был погребен в жидком, слипшемся иле, осевшем из осохшего потопа воды.

Алеша схватил деда за рубаху и прижался к нему. Из башни показался человек; он собирался вылезти оттуда.

— Там человека три-четыре, — сказал дед. — Уморились воевать и послули, а одного за харчами послали. Им давно пора отдохнуть.

Дед поднял револьвер, навел его, как надо, и выстрелил в того человека, что выбирался из танка; человек замер и молча опустился обратно вниз, убитый.

— А тот где, пленный неприятель, фашист Ай-Гитлер? — спросил Алеша.

— Некогда на войне с одним возиться, — ответил дед. — Того я старой вожжей связал и в овраг отнес. Пускай лежит до времени, пока хоть руки-то мои освободятся... Сбегай в Совет, пускай там красноармейцев кликнут, чтоб танк забрали, нам он годится. А я тут один хищника посторожу — у них еще человека два-три в машине живыми остались...

Но Алеша загоревал:

— Дедушка, а где же рыбы карпы и лягушки будут жить? Весь пруд на фашистов ушел.

Дед рассердился на внука:

— Ты видишь — у меня руки оружием заняты. Как управлюсь с врагами, так плотину всю сызнова сложу. Мы свое добро только на время рушили.

Дед поглядел в размытую прорву, где недавно стояла вековечная плотина, сложенная крестьянскими руками, и два раза моргнул, чтобы первая слеза осохла, а вторая не пошла.

Краткое пламя вырвалось из танковой пушки, и оттуда с железным мертвым звуком пролетел снаряд мимо деда и внука.

Снаряд сухо разорвался над пропастью умершего пруда, а дед и Алеша почувствовали удар холодного, тяжкого ветра, твердого, как грунт, но невидимого. Затем танк заворчал своей машиной из глубины схоронившей его илистой, тучной земли, пошевелился немного всем туловищем и утих.

— Зря стараешься, — произнес дед. — Утопшие и закопанные сами не вылезают.

Алеша побежал огородами на деревню, а дед залег за плечом плотины и направил револьвер на башню танка: может быть, еще кто-нибудь оттуда появится.

Скоро, как и должно быть, оттуда медленно и осторожно начал подыматься человек. Дед нацелился и выстрелил в него из немецкого ручного оружия: лезь, дескать, назад в железный короб. Враг сразу провалился обратно.

— Эх ты, лапша, зуп, говядина! — произнес старик. — Кого обсчитать хотели! Наш народ уже в который раз смерть обсчитывает и еще не раз ее обсчитает.

ЖИТЕЙСКОЕ ДЕЛО (СЛЕДОМ ЗА СЕРДЦЕМ)

Шла ночь в деревенской избе. Темно и тихо было за окном, лишь голая ветвь вербы изредка еле слышно постукивала в окно, склоняясь от слабого ветра. Верба зябла в прохладной сырости весенней ночи и словно просилась к людям, в теплую избу. А изба была нетоплепная, в избе на печи лежала без сна хозяйка Евдокия Гавриловна Захарова; она прихварывала уже который день, она грустила по мужу, убитому на войне, и ей сейчас не спалось. Она лежала и не могла согреться под овчинным полушубком, а рядом с ней под отцовской овчиной спали ее дети; их было у нее трое, и все девочки: Марья, Ксения и Груша; старшей, Марье, было девять лет от роду, а Ксения и Груша были двоешки, по восьми лет каждой; мать время от времени укрывала их, потому что девочки спали беспокойно, они

ногами сбрасывали с себя одежду и скрипели зубами. «Должно, глисты у них, — подумала мать, — надо им тыквенного семени дать».

Евдокия Гавриловна приподнялась и снова укрыла своих детей. Они дышали чистым теплом, знакомый запах молока и плоти исходил от них, и сердце матери тронулось тревожной любовью. Дети рождаются, растут, уходят затем из родительского дома в свою большую жизнь, но неподвижно сердце матери: оно одинаково любит свое дитя, одинаково оно прекрасно для нее во все времена его жизни, и мать всегда встревожена за него.

«Что с ними случится, что с ними станет? — думала Евдокия Гавриловна. — Вот будут они жить и расти, а отца своего никогда не узнают. А без отца, как и без матери, душа ребенка живет полуголодная. Что ж я одна им?»

Ночь продолжалась. Мать стала думать об озимых полях, о том, сколько снега было в зиму, сколько его сошло талой водой, сколько пропиталось в почву, о весенней погоде, о семенах в колхозе, о том, не потревожит ли какой новый враг нашу страну, — люди разное говорят, и газеты пишут, — обо всем мире думала Евдокия Гавриловна, потому что посреди мира жили ее малые, беззащитные дети и для них нужно, чтобы светило солнце, чтобы на земле рождался хлеб, а все человечество жило в спокойствии.

Она вспомнила о муже: что с ним случилось теперь, где его могила? — хоть бы кости его поглядеть, ведь и кости его дороги ей, как был дорог он весь!

Верба снова заскреблась в окно, и кто-то другой, одновременно с вербой, постучал в окно, так же негромко и застенчиво, как верба.

Евдокия Гавриловна отворила избу и впустила человека.

— Кто будешь-то? Чего ходишь так поздно, иль беда какая?

Человек снял шапку-ушанку, оправил усы и ответил:

— Беда, хозяйка... Дело у меня неотложное, я и во тьме иду.

Евдокия Гавриловна засветила лампу и подняла ее, чтобы поглядеть на гостя. Перед нею был нестарый еще, моложавый мужик, лет, может быть, тридцати или немногим старше; большие серые глаза его смотрели на хозяйку неподвижно и словно бы равнодушно, а вернее того, своя боль томила этого человека, и ему все равно было — что он видит перед собой. Одет он был в старую солдатскую шинель, но уже без погон, а за спиной его висел вещевой мешок; должно, из армии демобилизовался человек. Хотела было Евдокия Гавриловна спросить у прохожего, какая случилась беда у него, однако нехорошо праздно касаться чужой души, и она не спросила.

— Небось кушать хочешь! — сказала она. — Садись, я тебе поужинать дам.

— Спасибо, хозяйка. Время позднее, начнешь ты хлопотать, в печке греметь, детишек разбудишь!

— Проснутся, опять заснут. Из того тебе не голодать.

— Твоя воля, — сказал гость.

Он уселся на скамье и огляделся в избе. Перед ним ходила женщина и собирала на стол еду; в ее тихом лице, в худощавом теле, привыкшем к работе, было дальнейшее сходство с женой прохожего, умершей накануне войны. Может быть, жена была помоложе, однако и хозяйке едва ли минуло тридцать лет. А жена прохожего была столь хороша собою — и лицом с кротким, доверчивым выражением, и постоянным своим смущением, даже перед мужем, и напряженным вниманием больших, словно испуганных глаз, ожидающих увидеть чудо в каждом человеке, — что он, видя ее ежедневно, все же не мог привыкнуть к ней и часто любовался ею, будто не зная ее. К прелести человека, должно быть, нельзя привыкнуть. В хозяйке тоже было что-то напомнившее прохожему об его умершей жене, только здешняя женщина была все же поглубже и лицом и правом.

Собрав ужин, Евдокия Гавриловна велела гостю кушать:

— Садись, что ль! Щи-то еще теплые...

— И ты со мной, — попросил гость. — Одному есть не годится.

— Да и я похлебаю маленько. Неможется мне чего-то.

— Ничего, кушай, пожалуйста. Во всякой пище лекарство есть. Говорят, есть такая еда, от нее даже грусть утихает.

— А у тебя после еды-то утихала грусть? Иль тебе, может, непочем и грустить-то?

— Нету, грусть моя никогда не стихала, — сказал гость. — хоть поевши, хоть натошак.

— Бери ложкой полней, со дна доставай! — велела Евдокия Гавриловна. — Чего ты мелко черпаешь, неохотно так? А по ком твоя грусть?

— О сыне болею.

— О сыне?.. Умерший он, что ль, у тебя?

Гость положил на стол деревянную ложку и равнодушно поглядел на хозяйку; ему ничего сейчас не было дорого.

— Беда, что вести нету... Пропал мой сын; живой ли, мертвый, не знаю. Второй месяц хожу по всей округе, людей спрашиваю, а правды никто не говорит, кому его запомнить!.. Тебе-то не попадался он на взгляд; может, еще кусок ему давала иль ночевать привечала? Говорят, будто поблизости он ходит...

— А какой он из себя?

— Да мальчик такой заметный, лет теперь ему одиннадцать, двенадцатый пошел... Из себя он был нерослый, зато на лицо памятный: глаза у него добрые, сам смиренный, на голове волосы русые и в кудри выются...

Евдокия Гавриловна подумала.

— Не помню такого, не видала я его... А чего при тебе его нету?

Гость с удивлением поглядел на хозяйку: глупая она, что ли, есть такие, всякие есть, не одна пшеница в поле растет.

— Жена, тебе я говорю, давно скончалась, сын по мне один остался, а на войну я пошел, тетке его отдал, а тетка негодная, как нормально иногда бывает... А в село Шать, где сын мой с теткой жил, немцы пришли, тетка прочь, к немцам или в тыл — неизвестно, а сын один остался, и ушел он незнаемо куда — в Россию ушел. Он по свету бродит или в земле лежит, не знаю, а я за ним следом второй месяц хожу, да следа не видно... Тебе понятно?

— Мне понятно, — сказала Евдокия Гавриловна. — Мне понятно. А ты-то что же?

— Я-то что же! А я вернулся с фронта, от нашего села Шать половина осталась, половина дворов погорела. Люди тоже разбрелись, скончались, пропали без вести... Две старушки-домоседки видели моего Алешку, как пошел он босой в лес. «Алексей, ты куда? — спросила одна-то старуха. — Убьют тебя, еще немцы ходят в округе». А он им: «Ничего, говорит, я в русскую сторону уйду, отца там буду ждать, здесь люто, я боюсь». Старухи ему: «Возьми хоть хлеба от нас краюшку и народу там от нас поклонись...» И ушел мой Алексей. А куда ушел? — доля его горькая... А я за ним теперь иду: в одной деревне скажут, видели будто такого мальчика, в другой старик мне говорил, жил он у него на пчельнике, — да мой ли, нет ли, не знает, у него много сирот кормилось, а лесник говорил — у партизан был такой похожий мальчик. Может, и так, а веры нету. След и от большого человека пропадает скоро, а от ребенка и вовсе — что от него остается!..

— Вон беда твоя какая! — произнесла Евдокия Гавриловна. — А может, найдется еще твой Алешка, народ детей бережет.

— А может быть, может быть, — грустно сказал ночной гость; с течением времени он чувствовал в своем сердце все более утихающий голос своего сына, словно тот все более удалялся от него и был уже недостижимо далеко, далее, чем звезда; гость вздрогнул и проговорил, чтобы одолеть свое горе:

— Плохо жить без радости, нельзя жить. Я весь теперь неспособный стал, а прежде я был умелый, я ко всякой работе прилежный был, и в части мне цену знали...

Хозяйка пошла к своим детям, она укрыла, и оглядела их, и тихо порадовалась над ними.

— Твои-то ребятишки ишь целыми живут, — сказал гость.

— Мои-то целы! — ответила Евдокия Гавриловна. — А ты что, хочешь, чтоб и все дети пропали, раз твой пропал?

— Нету, того я не хочу!

— Нету — не хочешь!.. А ты сиди горюй, а сам ложкой из миски черпай! Чего постничаешь? Злой станешь! Добро-то из жизни приходит, а жизнь из пищи...

— Ишь ты какая! — озадачился гость и взял ложку. — У тебя свое разумье есть!

— А то как же! И с горем надо жить уметь. Я-то неужели, думаешь, с одним счастьем прожила!

От чужой беды недомоганье Евдокии Гавриловны словно бы стало легче, и воспомина-ние о муже на время отошло от нее.

Она постелила гостю постель на двух скамьях, составленных рядом, а сама легла на печи, рядом с детьми.

Наутро гость поднялся с рассветом и собрался уходить.

— Ты куда? — спросила его Евдокия Гавриловна.

— А я по своим делам, — может, сына еще сыщу?.. Спасибо тебе, хозяйка, за хлеб, за приют.

Евдокия Гавриловна опустила ноги с печи.

— Обожди! Я сама пойду проведаю о твоём сыне, об Алешке; у нас село большое, людей ты не знаешь. А ты посиди, ты почисти пока что картошек на завтрак. Видишь, они вон там, в ведерке, стоят. Сумеешь?

— Справлюсь... Да чего ты о картошке сомневаешься? Сумею, нет ли? — да ты знаешь, кто я? Я Гвоздарев Антон Александрович, я был знаменитый механик!

— Во как! — обрадовалась Евдокия Гавриловна; она обрадовалась тому, что гость ее рассерчал. — Я за тебя к людям иду, а ты за меня дома работай. А знаменитых теперь много, весь народ знаменитым стал.

Хозяйка ушла из избы. Гвоздарев взял было одну картофелину, очистил ее и бросил прочь, обратно в ведро.

«...А на что мне нужно, будь оно все неладно!»

Он начал ходить взад-вперед по избе. Ему всегда было легче, когда он много ходил; сила тогда понемногу убывала в его теле, сердце уставало, и тоска в нем смирялась. Если бы его связать и заставить быть неподвижным, он бы, наверно, стал безумным; он жил здоровым потому, что все время шел к сыну, у него была цель и надежда жизни.

Он шагал туда и сюда, от двери до стены, скучным, серым утром в прохладной избе. Время шло, ничто не менялось вокруг, и Гвоздарев не мог устать на малом пространстве и успокоиться.

Услышав шепот, Гвоздарев поднял голову.

— Все ходит... А чего ходит? Кто такое это? — сказал тихий голос.

С русской печи на него глядели три детских лица; они тотчас же спрятались под овчину, как только чужой человек взглянул на них.

«Живые!» — подумал Гвоздарев и вздохнул.

Тайно и осторожно он начал поглядывать на печь, и дети оттуда чутко и робко следили за ним.

Гвоздарев в промежутки рассмотрел лица детей и запомнил их.

«Счастливые, — снова вздохнул он про себя. — Жизнь для них чудо, как оно и есть... Ишь ты, глазки как у них сияют, — а ведь серенькие глазки, простого цвета, а за ними еще что-то добавочно горит, душа и прелесть изнутри светит. Две-то головки совсем одинаковые, двоешки, что ль, а одна побольше, и уже глядит похитрее, тоже, значит, портится помаленьку. А что в детях хитрость, — ничего, одна маскировка прелести...»

Гвоздарев ходил, не переставая и словно не интересуясь детьми, а сам внимательно слушал их рассуждения о самом себе.

— Он старый, страшный! — прошептал маленький голос.

— А большой, как папа! — сказал голос старшей. — Я помню папу.

— Папа лучше был.

- А ты не помнишь!
- Папа в земельке лежит.
- А этот ходит, угомону на него нету.
- Не щипай меня, Грушка!
- А ты ногой меня ударила.
- Все ходит — лодырь! Мама картошку ему чистить наказала, а он ходит.
- У него медаль!
- У нашей мамы тоже медаль: за доблестный труд.
- Он плохо воевал, он трус, война долго шла, а у него одна только медаль.

«Вот дела-то! — подумал Гвоздарев. — Я орденов не ношу, чтобы пред людьми не гордиться, а дети за это в обиде на меня, что я трус!»

— Наша мама героем будет, председатель Никита Павлович говорил, ее трактор сильнее всех, он лучше всех землю пашет, глубоко, а не мелко.

— Аж пыль летит, я летом видала.

— И огонь из трубы!

— Мама говорила, когда огонь летит — это плохо. Она воду в машину, в нутрѐ ее пускает, за это ей медаль дали, и кофту на премию, и туфли, и хлеба сто пудов.

— А еще талон на что-то!

— И два платья малолетним детям!

— Это нам, а не тебе!

«Вон оно как! — слушал Гвоздарев. — Хозяйка, значит, тоже механик. Не угадаешь человека! Смотрим мы друг на друга, как во тьму, — отчего такое?»

Детские голоса опять зашептались на печи:

— Думает... А чего думает?

— А у него есть мама?

— Нету.

— А бабушка?

— Нету. Он один!

— А чего он живет один? Одни умирают.

— А он добрый! Видишь — ему скучно!

— А отчего ему скучно?

— Ему чужих жалко, добрые и по чужим скучают.

— И нас ему жалко, у нас папы нету...

Будто что-то вошло в грудь Гвоздарева из этих слов ребенка, чего ему недоставало и без чего он жил в горести; так питается каждый человек чужим духом, а здесь его питал своею душою ребенок.

Гвоздарев подошел к печи и встал на лавку, чтобы приблизиться к детям или совсем забраться к ним на печь и полежать рядом с ними, где мать лежала. Но дети укрылись от него с головой и умолкли.

— Вы чего? Иль напугались?

Дети помолчали, затем один младший голосок сказал:

— Мы к тебе не привыкшие... Гвоздарев погладил их по верх овчины.

— Вы кто же такие будете? — должно быть, одна барышня и два мальчика или как?

Нежный смеющийся голосок ответил из-под овчины:

— Мальчиков нету, мы тут девицы!

— Ну, вставайте, девицы. Вам давно обряжаться пора, на дворе день стоит!

Старшая дочь, Марья, выпростала голову из-под овчины и близко поглядела на Гвоздарева серьезными и доверчивыми глазами, какие были у ее матери.

— Мама вернется, обижаться будет, — сказала она. — Она тебе велела картошку на завтрак готовить, а ты не управился!..

— Да это я сейчас! Какое тут дело — всего ничего!

— Теперь уж не надо, — сказала старшая дочь. — Теперь я сама, видишь, поднимаюсь. А ты ступай на колодезь и две бадейки воды принеси, а то мне тяжко.

«Войди вот в такую семью, враз охомутают, — подумал Антон Гвоздарев, — одно надо, другое, прочее, — детей же целых трое, а к ним забота нужна. У меня вон один малый был, а сколько я в него силы положил, и теперь его забыть не могу! Эх, ты, мой Алешка, Алешка, — повстречайся ты мне, не оставляй отца сиротой! Повстречайся нынче же, чтобы мне далее не ходить. Я на войне сколько исходил и тут вот теперь хожу, сердце меня гонит!»

Гвоздарев сходил за водой и наколот дров на растопку, а Марья тем временем готовила картофель на завтрак; младшим же сестрам она дала пока что по кусочку солонины, чтоб они не просили есть, покуда все не сварится, и Гвоздареву Марья тоже дала ломоть солонины, а себе не взяла.

Немного погода вернулась в избу и сама хозяйка, Евдокия Гавриловна. Она с робостью, словно виноватая, поглядела на гостя.

Гвоздарев понял ее.

— Видать, ничего ты про сына не проведала? — спросил он хозяйку. — Ходила ты без толку, зря.

— Покамест не проведала. А тебе сразу нужно, чтоб я его за руку привела!

— Да нет, я и потерплю...

— Ну, потерпи маленько... Слух есть — у нас тут памятливая, честная старушка одна живет, ее дочка библиотекарша, книжки читать ребятам дает... А у библиотекарши муж тоже на войне пропал...

— Ну, говори, говори! — рассерчал Гвоздарев. — Говори теперь, кто ее сын, а кто тетка, и замужем ее тетка либо старая дева, и кто ее муж, чем занимается, говори все подробно, чтоб смысла не было.

— Да ты обожди с попреком-то... Это я тебе для твоей же веры подробно говорю. Мне добрая старуха та сказала, а она врать не будет, что такой же малый, как твой, шел по осени за стадом через наше село. Скотину обратно в Белоруссию гнали, и малый твой будто шел следом с пастухами и с уполномоченным. Пригожий такой мальчуган шел по деревне...

— Он у меня и правда пригожий! — согласился Гвоздарев. — Мать у него была собою хороша...

— Он еще у этой старушки, что я-то говорю, соли попросил... Старуха дала ему соли и спросила: ты чей же будешь? А он ей, как большой: Бог весть, говорит, сам не знаю, чей, отца ищу, пойду к нему в Германию, — и пошел... Стало быть, ты его ищешь, а он тебя, и ходите вы оба как непутевые...

— А что ж, по-твоему, делать нам? Сердце-то у нас болит: у него по отцу, а у меня по сыну. Тебе хорошо тут в своей избе, со своими детишками...

— Остановиться тебе надо, вот что!

— А где мне пристанище?

— Ишь ты, солдат, а без разума!.. Да тебе везде пристанище — хоть у нас в колхозе, хоть в другой ступай. Ты же механик, говоришь!

— А как же!.. Да ведь оно и ты, оказывается, женщина с мастерством!

— И я работаю; я землю трактором пашу. Без пашни не проживешь.

— Вот и главное-то! — согласно произнес Антон Гвоздарев и посмотрел на хозяйку с добрым намерением, как смотрит человек на младшую сестру, когда желает ее приласкать или подарить ей что-либо, да нет у него под руками подарка, а для братской ласки сестра уже выросла.

После завтрака Гвоздарев попрощался с хозяйкой и с детьми ее, поблагодарил семейство за хлеб и уют и ушел совсем. Он решил еще зайти к той доброй, памятливой старухе, у которой была Евдокия Гавриловна, и спросить ее точнее о том мальчике, какому она подала соли.

Добрая старуха оказалась действительно памятливей. Расспросив сначала у Гвоздарева, каков был из себя его сын, она припомнила, что за год она видела на деревне чужих мальчу-ганов, похожих лицом на Алешку, и видела целых семерых, а не одного. А подумав немного, вспомнила и восьмого такого же. «Эка бестолочь! — думал Гвоздарев, слушая старуху. — Да мне один нужен, а она из доброты мне восьмерых обещает. По ее-то доброте все мальчишки на моего Алешку похожи, только из этой доброты сын ко мне не явится».

Он ушел от старухи, понимая ее сочувствие и не видя пользы от него для своего дела.

Выйдя за околицу чужого села, Гвоздарев тотчас услышал работу мощного гусеничного трактора. Он всмотрелся в пустое черное поле и увидел машину, вышедшую из-за летнего дощатого балагана. Трактор ровно тянул за собою многокорпусную раму плугов и дышал че-рез патрубков синим пламенем отработанного газа. За рычагами машины сидела в рабочем комбинезоне Евдокия Гавриловна и спокойно следила за работой механизма. Черная река обработанной земли потоком текла из-под содрогающихся, звенящих стальных лемехов; из мотора слышалось упругое биение поршней, рождающих сокрушающую силу работы; пламя, напряженное до синевы, сверкало из патрубка, но вот звук выхлопа из мягкого, пульсирую-щего перешел в сухой и резкий. Гвоздарев расслышал даже, как позванивал патрубок в колене от жестких ударов газа. Евдокия Гавриловна на ходу порегулировала машину — Гвоздарев заметил это издали, — и мотор опять заработал мягче. Но вскоре машина снова перешла на жесткий, ненормальный режим, и тогда Гвоздарев не стерпел своего осуждения механику.

— Эх, женщина! — сказал он вслух. — И горячее ты пережигает зря, а главное дело, машину утомляешь — ведь ты рвешь ее такой работой, мать своего семейства!.. У меня таких, как ты, желудок не переваривает!

И Гвоздарев пошел через поле к трактору.

— Стоп! — указал он Евдокии Гавриловне.

— Чего ты! — крикнула она со своего места. — У нас план большой. Некогда стоять.

— А мне есть когда о вас заботиться?

Евдокия Гавриловна остановила машину.

Гвоздарев обошел трактор, подумал и залез на гусеничный ход, чтобы осмотреть мотор.

— Видал такую машину иль первый раз только? — спросила его Евдокия Гавриловна.

— Такую-то? — отозвался Гвоздарев. — Да сколько ни есть сейчас женщин в вашей деревне, они за всю свою жизнь столько детей не нарожают, сколько через мои руки моторов прошло — всех систем, серий, наименований и назначений!

— А ну, еще чего скажешь? — улыбнулась Евдокия Гавриловна. — Гляди там скорее, мне стоять некогда...

Антон Гвоздарев углубился в машину. Особенно его заинтересовала система подачи воды в рабочие полости цилиндров, что должно уменьшать расход горючего и смягчать тепловое на-пряжение двигателя.

— Кто тебе, какой это изобретатель-конструктор питание водой такое устроил? — оза-даченно спросил Гвоздарев.

— Это я сама! — сказала Евдокия Гавриловна. — Теперь машина сильнее тянет и ров-нее...

— Всегда сильнее тянет?

— Когда как! А то и не заладит!

— Одна работала?

— Одной не справиться было... Два слесаря из МТС работали, и сам старший механик думал — сидел.

Гвоздарев поднял голову от мотора и вздохнул:

— Думал — сидел...

— А что, плохо сделали?

— Оно неплохо, а без расчета... Все приблизительно ляпали, наугад. Мысль была зо-лотая, а родилось из нее убудочное дело... Ишь, ну что это такое? — Гвоздарев потрогал

пальцами трубки на цилиндрах. — Где тут расчет был? Как у тебя впрыск в цилиндры идет? У тебя то горячая вода туда попадает, то похолоднее, а то никакой нету. Вот у тебя и машина так работает — то она у тебя, как богатырь, бежит и на ходу смеется, то сохнет, как чахоточный, зубами скрипит и плюется огнем...

Евдокия Гавриловна загрустила.

— Я и сама вижу, Антон Александрович, что не ладит что-то... Да все некогда подумать и систему перебрать, пахать надо...

Она вынула теплый платок из рабочего ящика и повязала им голову; нездоровье ее еще не прошло, и она зябла. Антон Гвоздарев нечаянно, между делом, посмотрел ей и глаза; сейчас они еще более походили на глаза его покойной жены, и смысл взгляда был тот же: тайное сочувствие ему, как бы любованье им, и вместе — осторожная подозрительность, точно он вот-вот может сделать, подобно ребенку, какую-либо шалость или даже гадость. «Все они, что ли, такие похожие, — подумал Гвоздарев, — тоже ведь задача! А, да мне-то что, какая мне тут задача! Я вот-вот и снимусь отсюда навеки! Мало ли где я был, мало ли кого я видел! Меня каждую ночь сны одолевают от воспоминаний».

Гвоздарев уяснил себе свое положение вполне разумно и убедительно, так что все теперь должно быть для него нормально и просто. Однако сердце или что-то другое, свободно и безмолвно живущее в его груди, как второй, отдельный человек, словно приостановилось в нем, и оно неподвижно, неразлучно следило за Евдокией Гавриловной, не согласное с Гвоздаревым, не согласное ни с чем, даже с правдой. И, почувствовав, что сердце его как бы отделилось от него и приостановилось в томлении, Гвоздарев узнал вдруг, что ему стало хорошо. Странно было, но даже грустное терпение в глазах Евдокии Гавриловны теперь утешало чем-то внимательное сердце Гвоздарева, — а какой был прок для него в грустном выражении ее глаз?..

— Глупость какая! — сказал он, ощупывая водяную систему мотора.

— Где там глупость? — спросила Евдокия Гавриловна. Гвоздарев сказал ей в ответ:

— Душа машины есть расчет, — понятно? А глупость, что делается без расчета. Это вот когда человека лечат или сначала строят, там можно как попало, там все равно выйдет, потому что живому больно, он запищит и скажет, где у него сделано неладно...

Евдокия Гавриловна обиделась.

— Что вы говорите, Антон Александрович! Опомнитесь!.. Закрывайте мотор, мне пахать пора!

— Я знаю, что я говорю! — вскричал в возбуждении Гвоздарев. — А машина — это вам не человек и не скотина, ее надо строить точнее, чем живое существо: она ведь не скажет, где у нее больно и плохо, она будет терпеть до разрушения! Вот где труд-то, это вам не любовь!

Евдокия Гавриловна засмеялась.

— Человека-то все же труднее воспитать, чем сделать машину. Да и человек дороже, чего зря говоришь!

— Кто его знает, что дороже, а что дешевле, — недовольно произнес Гвоздарев. — Я люблю практический угол зрения.

Он сошел с машины.

— Ну, я пойду, Евдокия Гавриловна. Мне нужно далее идти.

— Ступай, чего же! — сказала Евдокия Гавриловна. — А как с водою быть — не скажешь, чего там нужно сделать?

— А чего тебе сказать? Скажешь, а ты не поймешь! Самому надо сделать! А мне, видишь, некогда, у меня по сыну тоска!

Гвоздарев попрощался и пошел с поля на проселочную дорогу. Евдокия Гавриловна пустила машину в ход и стала пахать. «Ходит человек, — подумала она, — себя обманывает, что ль, иль, правда, ветер в дороге тоску его остужает и ему легче! Пусть ходит тогда, пусть ходит!»

Двигатель перешел на сухой, жесткий режим работы. «Должно быть, всасывающие клапана захватывают воздух, надо их переставить, — озабочилась Евдокия Гавриловна. — Переставить! А когда переставлять? Ночью надо детей еще искупать!»

Евдокия Гавриловна пахала дотемна. Потом она затопила печь в своей избе, нагрела воды и начала купать в корыте детей, сперва Ксюшу и Грушу, а последней купала старшую, Марью. Она любила купать детей: таково было приятно ей нежить их мягкие, слабые тела в теплой воде, почувствовать их чистый, живой запах детства, близко, при себе, держать их под защитой, — так бы и век их держала, если б можно было.

Когда мать уже кончала купать и окатывала водой Марью, а младшие уже грелись на печи, снаружи к окну подошел Антон Гвоздарев. На столе горела лампа, корыто стояло на полу, и хозяйка купала дочку. Плечи и руки у Евдокии Гавриловны были обнажены, голова была простоволосая, сама она раздумянилась от тепла и своего счастья с детьми. Гвоздарев хотел было сразу постучать, но из интереса или от стеснения обождал. «А скажи вот, пожалуйста, что такое! — обсудил он положение. — Вот ведь и троих детей она родила, а может, и того больше, а ведь вся целая, полная живет! Природа, значит, постоянно своим ремонтом обслуживает человека! Конечно, тут и харчи действуют, и воздух с водой — колодезь у них артезианский, микробов никаких! Интересно как-то!»

Он тихо постучал в оконную раму. Марья увидела и узнала его первая.

— Мама! Это давешний мужик стучится...

Девочка склонила свою голову и прикрыла плоскую грудь руками.

— Чего он ходит, мама, неприкаянный такой...

Евдокия Гавриловна догадалась, кто стучался в окно.

— У него горе, дочка.

— Горе! А у нас иль радость, что ли, отца нету...

Хозяйка обернулась к окну; на нее глядело довольное, радующееся лицо Гвоздарева.

— Обожди пока входить, — приказала она, — а то избу настудишь; ступай во двор, захвати там охапку дровишек, подтопить еще надо, и ужин заодно согреем...

— Это я сейчас! — ответил с улицы Гвоздарев.

После ужина Гвоздарев сказал хозяйке, что он не в гости к ней пришел, не зря, а из совести. Отошедши тогда, днем, от машины, он сосчитал в уме, что если правильно наладить впрыск воды в цилиндры, то можно при том же горючем, что отпущено по плану, запахать лишних сто, а то и двести гектаров. А ведь это, худо-бедно, считай, десять тысяч пудов хлеба. Вот тогда он почувствовал, что в нем есть совесть, и, отойдя еще верст десять, он подумал и вернулся.

— За ночь-то я управлюсь, пожалуй, отрегулировать всю водяную систему! — сказал он. — Ты только посвети мне. Где твоя машина стоит?

— Ну что ж, — согласилась Евдокия Гавриловна. — У нас депо сельхозмашин и орудий, там есть весь инструмент для текущего ремонта, и там моя машина почует.

Марья грелась на печке; она глядела оттуда и все хотела что-то сказать.

— А вас где-нибудь сын Алешка дожидается, — сказала она. — Он, может, плачет по вас...

«Эка ябеда, — подумал Гвоздарев, — чует она что-то», — и ответил:

— Сын у меня малый сознательный, ночью он спит, а не плачет.

— А ему, может, спать не хочется, — сказала Марья.

— А не хочется — пусть не спит, — сказал Гвоздарев девчонке. — Пусть, как ты, лежит и глаза лупит... Заправляй, хозяйка, фонарь на работу!

Мать заправила керосином фонарь, а Гвоздарев осмотрел в своем вещевом мешке немецкие универсальные разводные ключи, и они ушли работать.

— Свет не забудь потушить, — велела мать с порога.

— А я спать не хочу, пусть горит, — сказала Марья, и она тут же надела шубенку на голое тело, укрыла спящих сестер и сошла с печки.

Затем, улыбнувшись, она достала из шкафа, где мать хранила хлеб и соль, толстую книгу с картинками и села за стол читать. Марья умела читать только вслух, и чем громче, тем она лучше понимала слова, и тогда ей больше нравилось, что она читала; от звуков своего голоса слова из книги превращались для нее точно в картинки, и она видела их, как живые.

Шла долгая ночь; девочка сидела при лампе и вслух выговаривала слова, водя пальцем по печатной странице, и лицо ее то веселело, то печалилось, то становилось задумчивым; она забыла про себя и жила не своей жизнью, и счастье сочувствия людям и предметам, о которых написано было в книге, тревожило и радовало ее сердце.

Фитиль в лампе начал потрескивать, в ней догорал керосин. «Обожди, не гасни!» — попросила Марья лампу и стала читать скорее.

— Хозяюшка! — позвал Марью тихий чужой голос — Хозяюшка!

Марья сердито обернулась к окну: ей надо было читать, и лампа уже догорает, а тут еще шут кого-то несет.

В окошко негромко постучался кто-то, потом к стеклу прильнуло круглое лицо большого мальчика.

— А где старая хозяйка? — спросил тот мальчик из-за окна. — Я думал, это не ты!

— А чего тебе надо-то? — с сердцем крикнула Марья. — Чего ты по ночам в окно к нам стучишься, других тебе домов в деревне нету, что ли? Ступай туда и стучи!

— Да, а там темно, а у тебя свет горит!

— Ты видишь, я занимаюсь сию!

— Вижу... Дай соли горсть!

— Ишь сколько — горсть! А зачем тебе?

— У нас корова хвора, пищу не принимает. Может, она соли полижет, ей полегчает...

— Иди возьми, что ль!

Большой мальчик вошел через сени в избу. Лицо его было темное от солнца и ветра, непокрытая голова густо обросла светлыми волосами, и большие глаза кротко, но не боязливо глядели на девочку-хозяйку. В руках у него был кнут, он поставил его к месту, в уголок, и поклонился.

— Здравствуйте! — ответила Марья.

Она открыла шкаф, взяла из деревянной миски горсть соли и подала ее в кулаке мальчику.

Тот подставил подол рубашки, и Марья ссыпала туда соль.

— Еще дай! — попросил мальчик.

— Хватит! Вы чьи сами-то?

— Мы гонщики... Скотину гоним в погорелые районы. В Шать-деревню нынче идем... Слыхала Шать-деревню? Большое село!

— Не слыхала... А кто вам скотину дает?

— Как кто? Ты книгу вон читаешь, там написано. Нам государство всего дает.

— А соли?

— И соль была, схарчили в дороге... Прочитай мне, что в книжке...

— А ты читать не умеешь?

Мальчик застеснялся:

— В зиму пойду учиться. Школы немец сжег.

— Ну, ступай. У тебя корова хвора, чего стоишь!

— Сейчас... Спасибо вам за соль, а то корова племенная.

Он взял кнут, прижал подол с солью к себе, поклонился и ушел.

Лампа уже моргала; Марья привернула фитиль, дунула сверху в стекло и полезла на печь.

А Евдокия Гавриловна до рассвета помогала Гвоздареву работать в сарае. Всю ночь Антон Гвоздарев, имея дело с двигателем, шептал что-то, затем бормотал и, наконец, говорил громко и явственно. Однако Евдокия Гавриловна не слышала или не хотела понять Гвоз-

дарева, и она не отвечала ему ничего; только когда он говорил: «Гайку три осьмушки» или: «Готовь паяльник», — Евдокия Гавриловна понимала Гвоздарева, и подавала ему детали, и делала, что нужно.

К утру Гвоздарев привык к женщине, вблизи которой было ему хорошо, он даже не торопился кончать работу и действовал медленно; сердце его осмелело, и он сказал:

— А что, Евдокия Гавриловна, ты слышишь меня?

— Не слышу, — ответила Евдокия Гавриловна.

— Ну, все равно! — сказал Гвоздарев. — А что, если, сказать, мы с тобой организуемся вместе, или, как говорится, будем служить у пушки в одном расчете? У нас одних ребят с тобой на целый расчет орудия хватит, да еще мы с тобою двое...

Евдокия Гавриловна покраснела в сумраке сарая; фонарь стоял далеко от нее; он был возле Гвоздарева, лежащего под мотором. Ей нравились слова Антона Гвоздарева; всю ночь она слушала его невнятное бормотанье с ясным, однако, для нее смыслом. Что ей было ответить ему? Человек он, может быть, и хороший, да все же незнаемо было, каков его характер, а у нее трое детей. Про любовь, по первости все люди добры и хороши, неизвестно только, как из них потом злодеи рождаются. Однако уже за то, что он робко, но добросердечно сказал ей, что любит ее и желает жить с ней одним семейством, Евдокия Гавриловна была благодарна ему, и душа ее оживилась навстречу этому человеку; тот, кого любят, всегда чувствует свое счастье, даже если любят его тщетно и бесполезно, потому что от другой любви увеличивается достоинство и сознание ценности своей жизни, — жизни, которая нужна не только себе, но и другому.

Через несколько минут Евдокия Гавриловна подала Гвоздареву нужную деталь и близко склонилась к нему. Глаза его радостно смотрели на нее, он опять что-то говорил, но он ей так не понравился теперь, что она отвернулась и отошла от него, чтобы не почувствовать ненависть к нему.

— Ты что, Гавриловна? — не понимая, спросил Гвоздарев.

— Ничего, — поняв себя и его, ответила Евдокия Гавриловна. — Ты же за сыном идешь, у тебя сын в сиротстве живет, а ты встретил бабу-вдову и про сына забыл!.. Где ж в тебе человек, какое к тебе уважение? Мужик в тебе соскучился...

Гвоздарев вскочил на ноги. «Суровая, с характером, — увидел он Евдокию Гавриловну, — эх, хороша, и почти что правду ведь говорит!»

— Ишь ты какая! — сказал он. — Да сына-то я прежде всего найду, без него и жизни моей не быть!

— Вот и найди его сначала, а то я его скорее тебя найду...

— Да я нынче же в Москву поеду, я в главную контору по розыскам там обращусь. Там уж, где ни есть, найдут его.

— Поезжай, конечно, чего тут топтаться, — дала совет Евдокия Гавриловна. — Сегодня от нас в МТС полуторатонка пойдет, а оттуда верста до станции.

— Ладно, ладно, солдату все ясно, — отчужденно сказал Гвоздарев. — А к вам-то можно наведаться тогда: узнать хоть, как машина теперь будет тянуть, как жизнь у вас тут пойдет...

— Можно, отчего нельзя! — согласилась Евдокия Гавриловна. — Ты меня не обидел, и я тебе рада буду...

Вскоре к сараю-депо подъехал грузовик, и шофер спросил:

— Гавриловна, тебе чего в МТС нужно? Говори, не задерживай!

С этой машиной Гвоздарев отправился к станции железной дороги и далее, в Москву, а Евдокия Гавриловна отмыла руки и пошла к себе домой, чтобы проведать детей, а затем снова вернуться сюда — выводить машину на пашню.

Дети ее спали, и она не стала их будить. Она собрала им завтрак — молоко, хлеб, солонину, вареный картофель, — сама поела и ушла работать. До вечера она пахала. Ма-

шина теперь тянула ровно и мощно, расчетливая работа водяной системы сэкономила горючее, и Евдокия Гавриловна вспоминала Гвоздарева: у мужика была правильная, думающая голова...

Поздно вечером Марья сказала матери, что в прошедшую ночь мимо их села гнали скот из государства в деревню Шать и к ним в избу приходил мальчик-пастух, он попросил соли для хворой племенной матки, Марья дала ему одну горсть, а он еще попросил, да им самим нужна соль, она больше не дала.

Евдокия Гавриловна слушала старшую дочь и улыбалась, а затем еще раз спросила про этого мальчика, который приходил за солью.

— А как его зовут, не Алешка ли? — спросила мать.

Марья поглядела на мать.

— Алешки не было... Этого, должно, Ванькой зовут. До деревни Шать было всего семнадцать верст. На другой день Евдокия Гавриловна выбрала время и поздно вечером пошла пешей в ту деревню; она дошла до Шати еще затемно и подремала на околице деревни до рассвета.

К полудню она возвратилась домой и привела с собой за руку большого мальчика, Алексея Гвоздарева.

Через месяц или немногим более, уже в начале лета, как только стемнело, в окошко Евдокии Гавриловны постучал прохожий человек. Огня хозяйка еще не зажигала, в избе было сумеречно, и хозяйке было некогда обернуться к окошку: она мыла над тазом голову мальчика и сейчас смывала мыльную пену с волос Алексея и с его лица.

Прохожий больше и не постучал. Он прильнул к оконному стеклу и всматривался внутрь сумеречной избы; он увидел, что делает Евдокия Гавриловна, он увидел, как под ее руками проясняется бледное, прекрасное лицо его сына.

Гвоздарев давно хотел счастья, и вот теперь он был счастливым, и счастье его оказалось посильным житейским делом. Всего десять шагов да открытая дверь служили ему помехой к счастью, и он побоялся их пройти. Он сел на завалинку и закурил; пусть и для радости будет отсрочка, так оно для человека надежней.